

Ж7914

НОВЫЙ МИР

7

МОСКВА

1942

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1942 г.

№ 7

Год издания XIX

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
И. Фефер — Баллада о Красном знамени	3
Андрей Упитс — Сала, масла и яиц! <i>повесть</i>	4
Владимир Козин — Дунганские сады, <i>рассказ</i>	34
Н. Рыленков — Левитан, <i>стихотворение</i>	52
Вадим Кожевников — Март—апрель, <i>рассказ</i>	54
С. Варшавский, Б Реег — Сын отечества, <i>повесть</i>	65

И. Зильберфарб — Враги культуры	89

Л. Тоом — Эстонская литература последних лет	103
Р. Кацман — Фронтовая кинохроника	108

БИБЛИОГРАФИЯ

Н. Гусев — Рассказы о Толстом	122
О. Резник — Рассказы о войне	124
Н. Мадуев — Новое о Горьком	126

41674
Ж

Баллада о красном знамени

И. ФЕФЕР

★

Был город истерзан, изранен,
Лежал он в крови и в огне.
И стены разрушенных зданий
Стояли в немой тишине.

Казалось, ничто не разбудит
Руин этих мерзвенный сон.
Но что это? Двигаются люди,
Стекаются с разных сторон.

К седому Крещатику вышли,
И в траур весь город одет.
А знамя алеет на крыше,
Далекого счастья привет.

Священное, красное знамя
Здесь, в этом аду, расцвело!
Горит и трепещет, как пламя,
Как сказочной птицы крыло.

Не видел давно его Киев,
И люди не верят глазам.
Трепещут струи огневые
И рвутся к родным облакам.

И к небу направлены взоры,
А знамя, как факел, горит.
Но сумрак спускается скоро —
Путь к радости снова закрыт.

И снова становится тише,
Ночь скорби безмолвной полна.
И враг уже ходит по крыше,
И стонет от боли она.

Нечистыми взял он руками
Великое знамя. И вот
Он топчет его сапогами,
Он комкает знамя и рвет.

И, сбросив его, вынимает
Тряпицу фашистскую враг
И, что-то под нос напевая,
На древко повесил свой флаг.

Окончено черное дело.
Враг сходит по лестнице вниз.
Вдруг выстрелы грозно и смело
В глухой тишине раздались.

Качнувшись, взмахнул он руками
И, пульей пронзенный насквозь,
Упал, точно брошенный камень,
И руки раскинулись врозь.

А немцы, не зная покоя,
Метались всю ночь напролет.
Но кто партизана-героя
Средь тысяч таких же найдет?

Ты видишь? Пылающим светом
Знамена взвиваются вдруг.
О, сколько же в городе этом
И глаз у героя, и рук!

О, наш богатырь величавый,
Мы видим тебя и вдали.
О, Киев, о, гордость и слава
Родной Украинской земли!

*Перевела с еврейского
Е. ИЛЬИНА*

воят, что у них тонкий нюх, как у породистой таксы... Да закрывай ты двери, раз ночи прохладны, мухи ползут напралом!

Хозяин Норишей в сердцах хлопнул дверью.

— Опять ты взялась за свое, за старое! «Говорят»... «говорят»... Сколько раз я уже напоминал тебе: не слушай глупой бабьей болтовни!

Хозяйка старалась пригласить прилипшие ко лбу волосы.

— Женщины, они всегда у тебя глупые. Но ведь не одни они. Разве ты не читал в газетах? В Бельгии...

— Бельгия, Бельгия... — презрительно высморкался хозяин. — Заткнись ты своими Бельгиями! Ни одному слову я не верю. Немец в конце-концов такой же человек, как ты да я.

Хозяйка взглянула на мужа, как на ребенка, заслуживающего порки.

— Что ты говоришь, когда на том берегу Даугавы вот уже второй день, как обоз за обозом направляются в Германию. В далекий путь уплывает добро курземнисков. О, господи! Ну, точь-в-точь так же, как это было в восемнадцатом году.

Она уселась в конце стола у окна, чтобы удобнее следить за всем, что делается на дворе. Глаза у хозяйки беспокойны, даже руки не лежат неподвижно на коленях по старой, давнишней привычке.

Хозяина Норишей раздражали не столько ее слова, как эти нервные, повсюду шарящие руки.

— Держи язык за зубами! — предупредил он грозно. — Ей-ей, втянешь ты нас в беду! — Но и сам он как-то грузно опустился на диван. — Я ни о чем не беспокоюсь, нам они ничего не сделают. Что мы для них — двое стариков! Взять и Яниса нашего — кто может сказать, что он путался с красными?

Хозяйка с упреком покачала головой.

— Старый дурак ты и больше никто! Думаешь, что я не вижу, — говоришь одно, мыслишь другое. Скажи-ка по совести, почему ты зарыл свою бутылку вина?

— Я? Ах, вино-то это?.. — Хозяин почесал себе затылок. — Видишь, с вином дело обстоит несколько иначе, чем с твоими платками, простынями и узлами с одеждой. Дело в том, что одежду ты долго в земле не продержишь, — либо мыши ее изгрызут, либо она просто возьмет да сгниет. Винцо — другое дело, чем ему плохо лежать в стеклянной посуде, да с пробкой в горлышке? Хоть три года, — чем дольше полежит, тем старее и крепче станет.

Нижняя губа у хозяйки заметно и презрительно вытянулась.

— Нет, лучше было бы оставить вино незарытым, пусть лакают, тогда не станут искать остальное добро.

— Ты что, с ума сошла! — всплеснул хозяин руками. — Забыла, что в первое же воскресенье сентября — мой день рождения.

Хозяйка Норишей печально покачала головой.

— Да, да... А мне вот все кажется, что всем балам и вечеринкам пришел конец. Бог знает, бог знает, где и как мы в этом году будем праздновать дни рождений.

— Здесь же, здесь же, старушка, в усадьбе Нориши, — быстро, часто и горячо заговорил старый хозяин, как будто ему предстояло убедить не только свою старуху, но и других. — Кто же меня обидит...

И вдруг он весь сжался — вдали два раза подряд что-то грохнуло. Не были ли это выстрелы? Он пугливо покосился в сторону жены, слышала ли она тоже? Нет, она, глуховатая на одно ухо, очевидно, не слышала шума, тем более, такого незначительного. И он снова возобновил свою болтовню, еще более ускоряя торопливую речь.

— Кто нас с тобой обидит? Мы не новохозяева какие-нибудь, не на колесах ставили свой дом. Разве не по закону куплен нами участок земли? Разве Кампаузену не уплачено все до последней копейки?

Чувства и воспоминания старого владельца усадьбы нахлынули и овладели им.

— Двести гурных мест, ох-ох! И ка-

Сала, масла и яиц!

АНДРЕЙ УПИТС

Повесть

★

1.

Двери в комнаты Норишей настежь раскрыты. Мухи сплошным роем жужжали в помещении, облепив солнечную сторону стены, они этого только и дожидались до самого полдника.

А разве сейчас, в начале августа, не их законное время? Когда же честная и порядочная муха может досыта наестся, как не в эти недели, когда на кухне разносятся сладкие запахи, а в столовой на белой скатерти разложены тарелки с вареньем из красной смородины и малины? И разве половинку разрезанного белого, сочного и прозрачного яблока просто бросают на ветер? Но старая хозяйка, вооружившись еще с утра полотенцем, без всякой жалости изгоняла этих счастливиц. Куда ж деваться порядочной мухе в Норишах? Направиться в коровник, вы скажете? Но для кого ж тогда Илга и Микус прикололи к потолку эти соблазняющие листы, густо, до черноты, облепленные к вечеру жалобно поющими мухами, чей несчастный вид не мог не вызывать слез у каждой еще летающей твари?

Нет, до сих пор в Норишах не чувствовалась настоящей жизни! Поэтому, кружась в пляске, мухи сейчас торопливо влетали в дом, — наконец-то, в сердце старого скряги проснулось сострадание. Накрытая на стол скатерть вскоре была исхожена вдоль и поперек, тюлевые оконные занавески изгажены; само собой понятно, что на маленьком

круглом столике с книгами и газетами, а также на старом диване искать чего-либо не было смысла. Кое-что подходящее могло найтись в комнате Илги, но двери туда как нарочно закрыты. Надо было обязательно оставить где-нибудь на память по крайней мере хоть несколько черных точек. Для этой цели, несомненно, предназначен висящий на стене пейзаж Даугавы — недаром две мухи, исследуя и обнюхивая, только-что обожали гладкую, позолоченную раму.

Но потом обе мухи быстро скрылись в налитом вечерним солнцем четырехугольнике наружных дверей. В комнату входили старая хозяйка и хозяин.

Седые волосы хозяйки Норишей растрепаны, она вспотела и заметно задыхается. Виною этому, конечно, ее тучность, полнота и теплое предвечернее солнышко Латвии. На плече она несла облепленную свежей землею лопату.

На хозяйине Норишей рубашка и незастегнутая жилетка. Обнаженный лоб его еще влажнее, чем у жены, даже на кончиках кругло остриженных волос кое-где повисли капли пота.

— Зачем тащишь лопату прямо в комнату? — ворчит он сердито, не то разбитый усталостью, не то расстроенный еще чем-нибудь.

— Осторожность никогда не мешает, — ответила хозяйка, убрав лопату за дверь. — Теперь они могут искать где до самого пришествия страшного суда; то, что я запрятала, ни одна собака не пронюхает. А впрочем, чорт их знает, г-

кая это была земляца! Четыре лошади, двадцать шесть дойных коров... Помнишь все это, мать? Ох-ох!

Жена его обозлилась и вскипела гневом.

— Ну тебя, брось скрипеть, старое колесо! Надоел... Да разве это все, что когда-то было у нас, многое еще, что было, да разве вернется оно обратно?

— Вернется еще, увидишь! — и обычно весьма тихий старичок в азарте ударил кулаком о кулак. — Только тридцать гектаров оставили на всю усадьбу Нориши! Разве я свою землю украл? Да, украл, что ли?

— Эх, стоит ли об этом продолжать разговор! Разве только это пережито нами за долгую жизнь? А помнишь ли ты времена, когда потоком шли беженцы, — что мы тогда с тобой нашли на своей земле? Разве не те же самые немцы тогда сровняли, разорили и опустошили всю нашу землю?

В своем возбуждении хозяин Норишей не нашелся, что ответить, он только белыми глазами покосился на жену.

— Проживем и на этих тридцати гектарах, — умиротворенно сказала хозяйка. — Жизнь направляется по другому пути, и вернуть ее на старый мы не в силах. Жить можно — были бы лишь мир и спокойствие.

— Но я так жить не желаю! — вдруг крикнул Норитис и чуть было опять не ударил кулаком о кулак.

— Ты всегда такой сумасшедший и шальной. С тебя могли ведь и спросить. Хорошо еще, что Грикис председатель комитета.

— Пусть, но свою правду я всегда отстаивал и буду отстаивать. И разве я не был прав? Где сейчас твой Грикис?

— Мой Грикис?.. С таким же правом ты можешь его назвать и своим. Ты спрашиваешь, где он? Скрывается в лесу. Ты думаешь, что немцы пощадили бы его?

Хозяин Норишей как бы содрогнулся от ужаса.

— Ужасный человек! Поджечь дом — свой собственный дом! Поджечь клеть, сарай! Сколько в них было возов ржи да пшеницы! А сколько одних сельско-

хозяйственных машин! Сумасшедший, истинно говорю, сумасшедший человек! И сейчас еще все дымится.

Как будто сговорившись, оба они одновременно бросили взгляд на двор. В промежутке между клетью и погребом-ледником видна отдаленная полоса леса, по временам совершенно тонущая в легкой, серой и скользкой пелене дыма.

— У Рейнвальда — тоже дымок, — вздохнула хозяйка. — Другого спасенья у них не было, как податься в лес.

— Ох, ох, ох, — тяжело покачал головой старик Норитис. — В усадьбе Айзилнисков прошлой ночью сразу загорелось во всех четырех углах. День страшного суда... повторяю... настоящий день страшного суда... Сами же — свои дома! Думали ли мы с тобой когда-нибудь, матушка, что нам придется столько пережить? Стоило ли нам обоим так долго жить на свете, мать?

Совершенно сломленный, он, сгорбившись, опустился на свое сиденье, тяжело склонил голову и хозяйка. Только спустя долгое время она снова была в состоянии ее поднять.

— Но что еще здесь будет, что произойдет? Пожалуй, лучше, чтобы и Янис сбежал в лес. Он и Грикис были друзьями, а доносчиков и предателей всегда хватало. Говорят, что Каситиса видели в обществе немцев. Он все время точит свои зубы на нас.

— Собачья душа, подлец! Вот кому следовало бы пустить пулю под ребро!

— И получит ее, будь спокоен! Грикис не один, с ним пятнадцать человек.

Норитис вскочил на ноги и, вытянув шею, стал глядеть в окно, хозяйка тоже повернулась в ту сторону и медленно встала. Старик протянул указательный палец.

— Кто эти двое — там, вместе с Илгой?

Мимо дверей клетки прошла Илга с двумя мужчинами, один из них — поросший бородою старичок, другой — стройный юноша. Их видно было лишь в течение короткого времени, двое мужчин почти бегом пробежали дорожку на газоне и скрылись в стороне леса.

— Молодой — учитель Уплейс из

у судьбы Айзилнисков, бородатый, очевидно, его сопровождает.

— Опять этот Уплейс! Разве я еще в прошлый раз не сказал прямо в глаза, что ему нечего искать в нашем доме? Пристал, как банный лист! Нет, я ему...

В комнату вошла Илга с раскрасневшимися щеками и странно блестящими глазами. Посмотрела на обоих стариков таким взглядом, как будто они только что совершили вдвоем преступление.

— Чего искал у нас Уплейс? — спросила мать нерешительно.

Илга ответила так, как будто опять мать в чем-то виновна.

— Искал Грикиса.

— Почему ты, дочь, не слушаешься меня? Не раз уже я говорил тебе — не путайся ты с ними... — Старик неуклюже придвинулся ближе.

— Ты... говорил! — в голосе дочери не слышно было даже малейшей нотки, напоминающей о четвертой заповеди. — Из-за твоих разговорчиков Янис до сих пор все еще чудит в поле с пшеницей, в то время как там, за дымом, уже орут немцы.

Мать гяжко вздохнула.

— Хлеб Грикиса все еще горит...

— Заскирдованный хлеб вначале только тлеет, — начал было деловито объяснять отец, хотя в данном случае его разглагольствования были совершенно излишними. — Но стоит только ветру разворошить... Я вспоминаю, как примерно лет пятнадцать тому назад на лесном лугу Бривцини мальчишка-пастушонок поджег стог сена, так еще на четвертый день...

— Сейчас горит овсяное поле Грикиса, — сказала Илга, глядя в ту сторону, где дым образовал сплошную черную тучу, покрывшую всю полосу леса. — После обеда огонь перебросился и на торфяное болото.

— Подожен и торфяник! — застонал Норитис. — Чистая беда! Наш овес тут же рядом...

— Что ты заботишься об овсе, — резко перебила его Илга. — Ты думай сейчас о Янисе. Не забудь, что если с ним что случится, ты виноват в этом.

У старика задрожали губы; словно ища спасения, он огляделся кругом.

— Ах, доченька, доченька, как ты говоришь!.. Я ведь только одного хотел, чтоб он не дружил с Грикисом.

— Что ты знаешь о нашей дружбе?

Внезапно она оборвала речь. Теперь и мать со своим туговатым ухом услышала два выстрела. И когда они втроем, затаив дыхание, стали прислушиваться, что-то затрепало, дробно стуча. Опытный боец сразу бы вспомнил о пулемете, но эти крестьяне безосшибочно знали о том, что это косилка Яниса. Но вот и она, резко оборвавшись, замолкла. Ветер прижал к земле клубы дыма, из него вынырнула зубчатая опушка ельника.

Оба старика и Илга не спускали глаз от окна, боясь взглянуть друг на друга.

2.

Четырехугольное поле яровой пшеницы скашивалось все больше и больше, до вечера здесь работы явно нехватит. Вороной с гнедым как будто соревновались между собой, косарь крепко скрутил возжи в руках, иначе обе лошади понеслись бы вскачь. Возможно, на уме у них было что-то тревожное. Когда они остановились для поворота в углу поля, стало заметно, что ноги у них дрожат. Уши насторожены, тонкие ноздри пугливо, тревожно нюхают воздух. Можно было думать, что их пугает непривычное, тут же рядом за неубранными снопами, облако дыма, порою светлосерое, а через мгновение черное, как копоть. Возможно, их пугало грозное и таинственное потрескивание, раздававшееся где-то рядом и время от времени переходящее в шипение.

Янис выехал на угол, и, чтобы повернуть в сторону, нужно было осадить коней назад, иначе коса не захватит покоса. Но как-раз в ту минуту внезапно за спиной, в клубах дыма или где-то за ними, звонко хлопнули два винтовочных выстрела; сейчас же после этого в отдалении кто-то заорал на резком, неприятном чужом языке — несколько других ответили ему издали.

Первый выстрел застал гнедого и во-

роного врасплох, после второго оба осели и прижали уши к затылку. Янис слез с сиденья, чтобы успокоить их и подбодрить. Но лошади на все его ласки отвечали резким фырканьем. Опасно гнать их обратно в дым в таком состоянии, они уже сейчас косились в ту сторону. Через поваленные ряды пшеницы косарь перегнал косилку к краю канавы, прикрепив ее к зеленому молодому стволу осины.

Стрелять перестали, но кричать продолжали попрежнему. Где-то в лесу мычали коровы, раза три отчаянно заблелала, подобно пisku птенца, заблудившаяся овца, далеко где-то в стороне ответил ей плачущий голос ягненка.

Янис, засунув руки в карманы брюк, стоял, слегка пригнувшись, и смотрел туда, где поверх бегущего облака раза два причудливо и ясно вынырнули и показались верхушки старых лип, растущих на горе Грикиса.

Ветер, очевидно, изменил направление, клубы дыма кружились уже над скошенным наполовину полем. Сквозь горько-кислый запах торфа пробивался сладчайший аромат соломы, свежего овса. Тысячи центнеров золотистых, тяжелых зерен пожирал огонь. С глубокой печалью в глазах косарь посмотрел на своих помощников в труде, — на их спинах рядом с влажными полосами пота выступала белая пена. Да и его загорелое, щетиной поросшее лицо стало жгуче-коричневым, ноздри трепетали, как у его коней, а во всем теле чувствовалось подстерегающее, с трудом сдерживаемое беспокойство.

Из клубов дыма неожиданно вынырнул парнишка в лаптях, с потрепанным березовым хлыстиком в руках. То был пастишонок Микус из усадьбы Норшей со слезящимися и покрасневшими от дыма глазами, парень решительный и деловой. Только приблизившись вплотную, он сообщил молодому хозяину:

— За полем овса немцы гоняются за скотом Грикиса. Только-что двое подстрелили одну овцу.

— Глупые животные, ведь их загнали в лес.

— Совсем без головы, то-и-дело вы-

бегают из леса на открытое место. А одна из телок, словно безумная, прыгнула прямо в развалины горящего скотного двора. Об этом мне только-что рассказала девчонка, вся в слезах и наоравшись досыта. «Я, говорит, больше не могу с ними управиться и, кроме того, боюсь немцев». Ну, я, конечно, сказал ей: «Бросай хворостинку и дуй во все ноги к матери».

— Правильно. И в самом деле, что она, бедняжка, может сделать, кого спасти? А где же наши овцы?

— Тут же, в кустарнике возле болотного луга, но вряд ли из этого будет толк, все норовят выбраться на опушку. Я-то не боюсь немцев, но думаю, что ты не слышишь, вот и пришел сообщить тебе.

— Я-то слышу хорошо, но и я не боюсь. А ты все еще думаешь, что лучше мне дать тягу и спрятаться в лесу?

— Грикис еще вчера тебе об этом говорил. Теперь уж поздно, овцы, наверное, уже бегают и носятся по всей опушке. Там, за домом, где гора с орешником, на дороге четверо возьтятся с чем-то блестящим, видно, с пулеметом. Я думаю, другого выхода для тебя не осталось, как держаться пока на месте, что будет, то будет.

— Я думаю так же. Как мальчишка и глупец, поступил я, послушавшись отца, но теперь уже поздно. Ты останешься здесь?

— В кустах, возле скотины. Но если эти дьяволы пронюхают, быть беде, тогда конец всему. Постараемся хоть спасти лошадей, они пригодятся для тех, кто в лесу...

— Грикис со своими там?

— Прошлую ночь провел в бору за болотом. За день вряд ли они куда ходили.

Янис Норитис покачал головой, словно хотел согнать с нее надоедливый рой мух, и быстро, большими шагами направился вдоль канавы домой.

У Илли просветлели глаза, когда она заметила, как Янис на краю поля привязывал лошадей к осине. Стало быть, он в последнюю минуту одумался. Серд-

це горячо забилось у ней, как будто он уже в безопасности... вместе с Грикисом и теми другими... Любимый, старый лес, в котором каждая тропка и каждый куст в чаще так хорошо знакомы! Она взглядом ласкала зубчатую опушку леса, которая снова потонула в облаке дыма.

— Айзилник рассказывал, — докладывала она, торопясь, — прошлой ночью партизаны напали на немецкий транспорт! Двенадцать возов овса в овраге у мельницы Мелнупе...

— Возле Мелнупе, — покачала мать головой, — это будет километров пятнадцать от нас.

— Пятнадцать или двадцать, — теперь они скоро могут быть здесь. У партизан ноги крепкие и быстрые, как у лошадей.

Мать предостерегающе качала головой.

— Уймись, сдерживай себя, дочка, а то, гнеровен час, сама попадешь в беду.

— Да, да, и нас не погуби вместе с собою, — подтвердил отец. — Сумасшедший тот, кто думает сейчас о защите и сопротивлении. Возьмите к примеру меня... Две бутылки вина я заранее поставил в буфет на видном месте. На чистом немецком языке я ему скажу... Так и скажу ему: «Гут вейнинь! Тринк, гер лейтенант...»

— Перестань ты со своим немецким! — перебила его сердито жена. — Ты только чудишь и больше ничего... Куда это, дочка, ты глядишь?

— Янис идет сюда.

— Бог ты мой! Наверное, у него что-то случилось!

— Не забрали ли у него лошадей?

— Нет, я видела, лошадей оч привязал...

Янис вошел в комнату. Рукава рубашки засучены до локтей, мрачен, словно туча, не отряхнул даже прилипшей к сапогам грязи. По очереди сердито оглядел всех, в особенности отца. Норитис старался придать своему лицу совершенно беззаботное выражение, но это никак ему не удавалось.

— Что случилось? — шопотом спросила Илга.

— Ничего особенного. Только они уже орудуют здесь.

— Не отобрали ли они у тебя лошадей? — вырвалось неожиданно у отца. Взгляд Яниса точно ужалил его.

— Лошадей... Теперь гляди лучше, чтобы голову не сняли с плеч долой.

У хозяйки затрясся подбородок.

— Ты и Илга уходите лучше в лес, дети.

— Для этого я и пришел, — хотел взять вас с собою. Но теперь уж поздно: на дороге, ведущей к горе с орешником, с пулеметом шныряют по всей опушке... Да и здесь, за фруктовым садом, блеснуло что-то...

Он осторожно подошел ко второму окну и выглянул из-за косяка.

— Мы словно в верше сидим, — он оглядел всю комнату, как будто ища, нет ли еще свободного выхода из западни. — Все это мудрствование отца. Он до тех пор здесь кудахтал, пока... — Янис взмахнул рукой. — Теперь уж поздно говорить об этом... Зачем я отдал револьвер? Оставил бы себе.

— Сумасшедший! — отмахивался отец обеими руками. — Не пытайся сопротивляться с оружием.

Янис больше не слушал его.

— Один чорт — пусть снимут голову. Не мы первые, не мы последние! Только сами мы не должны терять головы. Но самое главное — ничего не скрывать. Двери настежь! Шкафы и сундуки держать открытыми! Пусть грабят, пусть берут все — лишь бы спасти свою голую жизнь. Я...

Илга нагнулась ближе и заговорила тихо:

— Я знаю, где они, — Мижус сказал мне. Так ты думаешь, ночью туда — к Грикису?

— Что знаю, то знаю сам! — откликнулся сердито Янис. — Но что ты сама топчешься здесь на месте... Думаешь, что мы тебя сумеем охранить? Залезь куда-нибудь подальше, спрячься... пока стемнеет, солнце уже скрывается за верхушкой леса...

Норитис провел дрожащей рукой по лицу, ставшему совершенно серым.

— Дети, ведь вы не бросите нас одних?..

Хозяйка строгим движением руки заставила его умолкнуть, у ней больше уже не дрожали ни руки, ни подбородок, она выпрямилась и успокоилась, словно всю свою жизнь привыкла смотреть опасности в глаза.

— Не будь ты бабой, отец! Двум таким развалинам они ничего не сделают. Пусть только дети спасают себя. Это касается в первую очередь тебя, Илга, — ты слышала, о чем говорил Янис? Ступайте, дети!

Янис только-что взялся за ручку двери, как вдруг снова раздался выстрел, на этот раз совсем близко. Мычала корова. Хозяйка Норишей тяжело задыхалась.

— Ведь это наша Оталя...

Янис кивнул головой.

— Давеча они гонялись за скотиною Грикиса, выходит, теперь нашли и нашу, Микус не сумел ее уберечь... Пусть!.. Чего уж теперь заботиться о скотине, может быть, тогда скорее нас оставят в покое, — и он повелительно махнул рукой. — Илга! Тебе ведь говорю!

Оба поспешили во двор, двери остались раскрытыми. Хозяйка Норишей, словно подкошенная, упала на стул и застонала.

Она крепко сжимала обеими руками кончик своего передника.

— Успокойся, отец! Все будет хорошо... Что они с нами, со старыми людьми... Они, как и мы, тоже ведь при рождении увидели свет божий.

3.

Илга на одну минуту остановилась среди двора, крепко прикусив нижнюю губу и затаив дыхание. Янис в это время входил в пелену дыма и постепенно скрылся в ней. Одна лишь вершина осины изредка всплывала среди клубов дыма, лошади исчезли в тумане. За дымящейся синевой блеяли овцы, раздавались дикие крики. На дороге, ведущей к горе с орешником, бродили две голубоватые фигуры.

Илга ни о чем не думала, никого не искала — ноги сами несли ее в сторону

скотного двора, вверх по подъездным мосткам. В течение месяца кучи клевера сильно уплотнились и осели, по обеим сторонам крыши образовались большие щели. Однажды она уже здесь побывала, когда искала кошку, спрятавшую своих котят. Крыша еще не остыла от солнечного зноя, щель для человеческого роста несколько узка, необструганные планки царапали тело сквозь тонкую кофточку, высохшие стебли клевера кололи ладони и больно обжигали локти оголенных рук.

Совершенно взможащая от пота, она доползла до конца чердака. В одной из досок выпилено отверстие, через него почти свободно можно просунуть голову. Илга опрокинулась на спину и, томимая жаждой, лежала с открытым ртом, жадно глотая свежий воздух. В стороне леса безобразно орал и ругались. Выстрел... А затем — не был ли то голос Яниса?

Илга застонала и ладонями зажала себе уши.

Да, она не ошиблась — это действительно был голос брата.

Пройдя порядочное расстояние среди дыма, Янис, наконец, увидел своих лошадей. Было заметно, что кони до этого билась и дергались, пытаясь оторваться от осины, хомуты сдвинуты до ушей, косилка повернута наискось.

Увидев своего хозяина, лошади успокоились, фыркали, стараясь отделаться от дыма. Гнедой тихо ржал.

Но Янис не успел окончательно успокоить лошадей. В десяти шагах от него промчался ягненок, вслед за ним по пятам, спотыкаясь и прыгая, немецкий солдат в расстегнутой куртке, без фуражки, с сумкой на спине, волока за собой по земле винтовку. Глаза у него из-за дыма и дикого бешенства вылезли наружу, как у рака.

— Хальт! Хальт! — хрипло орал он, но в ту же минуту запутался в брошенных на землю возжах, шатаясь, увидел лошадей, отскочил, словно наткнулся на столб, вскинул винтовку к плечу.

— Руки вверх! — скорее зашипел он, чем заорал.

И не успел Янис подчиниться приказу, как из-за спины набросились еще

двое, схватили его и стали закручивать ему руки назад, словно не они на него, а он на них напал.

В гневе Янис сильно толкнул ногою назад, в кого-то угодив, ибо один из немцев завыл, как собака, которой наступили на лапу. Преследователь ягненка так ударил его прикладом винтовки в грудь, что желтые искры посыпались из глаз, и он зашатался, подаваясь назад. Новый крепкий удар в спину заставил его выпрямиться.

Из дыма приполз еще один. Подвезанная у подбородка каска была слишком велика для его круглой небольшой головы, тонкий и вытянувшийся, он имел большое сходство с поганкой, только что выросшей за прошлую ночь. Увидев сильного и крепкого латышского крестьянина, он, очевидно, почувствовал себя лично оскорбленным и уже замахнулся было на него штыком, но в это время со стороны дома подошел еще один, чином повыше толкавшихся здесь. Он подал руку с таким выразительным жестом, точно был фельдмаршал, и окрикнул стоявших:

— Тихо, ребята! Сначала его допросит лейтенант, потом уж мы ковырнем его как следует. А где господин лейтенант?

Охотник на ягненка указал рукой в сторону леса, откуда доносилось мычанье скотины.

— Выполняет служебные поручения, господин ефрейтор!

При этих словах все оскалили зубы, улыбнулся и господин ефрейтор. Но, вспомнив, что этот крестьянин не должен видеть немецких воинов смеющимися, он набросился на Яниса.

— Ты, латышская свинья! Ты что шатаешься там, где распоряжается немецкая армия?

Слова у него застревали и булькали в горле.

— Я не шатаюсь, сами видите, кошу пшеницу, — сказал Янис.

— Кошу пшеницу, — передразнил его немец, смеясь над его балтийским говором, — мы скосим твои ноги, шпион! Зачем поджег поле?

— Я не... разве вы не видите, что поджог совершен дальше, за моим полем?

— Поджарим тебя на пепле, тогда сам сознаешься, что поджигал! — тут он опять повторил свой жест фельдмаршала. — Охранять его! Винтовки взять в руки! Пока я не прикажу отвести домой. А если попытается бежать...

Не договорив, он круто повернулся и исчез среди дыма в направлении леса.

А тем временем хозяйка Норишей продолжала сидеть в комнате, опустившись в кресло, прикрыв лицо ладонями, зажав уши, чтобы не слышать страшного шума, доносившегося с опушки леса. Старый хозяин огляделся, словно ища спасения, затем приткнулся в углу за дверью.

Шум за домом нарастал, приближаясь с противоположной стороны. Теперь уже ясно слышно, как кто-то на дворе колотил в дверь.

Короткое время — ужасающая тишина, затем гулкие удары прикладами винтовок в дверь. Кто-то орал окончательным окриком голосом на исковерканном латышском языке местных прибалтийских немцев:

— Отпереть! Двери открыть! Раз, два!

Двери наполовину внезапно раскрылись, спрятав за собой старого хозяина Норишей. Через порог, качаясь, ввалился низкого роста толстый немец. Он хрипло заорал:

— Выходить!.. На пятнадцать шагов!

Хозяйка Норишей приподнялась, не в состоянии поднять рук.

— Как же так, господин, — бормотала она. — Нас только двое старых калек...

Шагая через порог, ворвавшийся чуть было не упал, с большим трудом сохранив равновесие. В одно мгновение он окинул взглядом и комнату, и всех в ней находящихся.

— Фи! Две старые обезьяны! Где ж остальные? — зарычал он, обшаривая своими круглыми свиными глазками все углы комнаты. Когда же старики с перепугу не смогли ответить и хозяйка только беззвучно пошевелила губами, он грохнул концом винтовки по полу и, ухватившись обеими руками за нее, пытался твердо стать на ноги.

— Я есть немецкий фельдфебель Шиммельпфениг, да, это есть я! — коротким

и толстым пальцем он гордо ткнул в свой живот. — Я вам приказываю, два урода эдаких! Где остальные, я спрашиваю? Уши есть, слышать можно? Рот есть, болтать можно! Раскрыть жабры, когда я с вами говорю!

В эту минуту в дверях показался еще один, за ним виднелись еще трое.

— Нужен ключ, господин фельдфебель. Эти свиньи заперли дверь клетки, ее не так-то легко взломать. Прикажете — гранатой?

— Молчать, ефрейтор Брудне, когда я говорю! — Ему удалось выпрямиться и встать достаточно твердо на ноги. Он подскочил ближе к хозяйке. — Как ты смеешь запирать, когда мы здесь? Ключ сюда, старая корова!

Старая хозяйка подбежала к стене, где висели ключи. Присев и сделав реверанс, подала ему.

— Прошу, господин фельдфебель. Мы двери всегда держим на запоре.

Шиммельпфениг вырвал ключ и, зажав его в кулаке, ткнул в лицо хозяйке. Она успела отклонить голову, и кулак фельдфебеля скользнул мимо щек.

— На запоре! — передразнил он. — Все должно быть открыто, когда мы здесь. Ты! — крикнул он, передавая ключ ефрейтору. — Отпереть! Все, что там в мешках, на станцию!..

Словно очумелый, вылез Норитис из своего угла, несмотря на то, что хозяйка жестами и знаками руки гнала его обратно на место.

Немного ржи и четыре пуры* овса — больше там ничего нет, — бормотал он, заикаясь. — Завтра собирались молотить хлеб нового урожая, что в сарае. Жена сделала последнюю выпечку, муки совсем нет дома.

Шиммельпфениг, словно он только сейчас старика увидел, сделался, как зверь.

— Что? Что ты там мелешь, старый лес? Стать! У стены!

Шатаясь, он приложил винтовку к плечу и стал целиться. Хозяйка вскрикнула, старый хозяин, защищаясь, прикрыл лицо рукою. Но фельдфебель передумал и опустил оружие.

— В мешки — и все на станцию! — повторил он приказание своему ефрейтору. — Марш! Стой! Брудне! Одному остаться здесь, если кто-либо из этих обезьян вздумает двигаться — стрелять!

— Как прикажете, господин фельдфебель. Марш!

Брудне отдал свою команду, вернее проорал ее гораздо громче, чем это сделал фельдфебель по отношению к нему самому. Двое пошли с ним, один остался у прикрытых дверей.

Шиммельпфениг, наконец, как будто, пришел в себя. Основательно обнюхав комнату, он повернулся к хозяйке.

— Где рояль?

— У нас нет...

— Как нет? — заорал благим матом немец. — Почему нет! Дочерей что ли у вас нет?

— Дочь у нас есть, — без приглашения вмешался Норитис, — она умеет играть, но пианино мы еще не успели приобрести.

— Во времена Улманиса налоги были так высоки, — поясняла она, — что у нас не было денег.

— Денег... денег... Мяукает, как кошка! — издевался Шиммельпфениг. — Врешь! Рояль есть, должен быть! Спрятали, в землю зарыли!

— Что вы, господин фельдфебель! — хозяйка, как на удивленье, стала смелее. — Кто же такое добро станет зарывать в землю? Там оно так и так пропало бы.

— Рояль должен быть! — стоял на своем фельдфебель. — Прodelками вы меня не морочьте. У нас имеется одна острая штука, ею нам стоит только поковырять землю, а потом твою ляшку, тогда он сразу найдется, тогда все находится!

После этого он, шатаясь и волоча винтовку по полу, стал обследовать комнату. Сперва подошел к маленькому круглому столику.

— Красное дерево! — проворчал он. — Это подойдет. Моя Клара давно уже хотела иметь такую штучку, круглую на трех ножках. — Потом он протопал к дивану, пощупал его, плюнул, хотел ударить ногой, но сапогом задел за коврик и чуть было не растянулся

* Пура — мера сыпучих тел.

на полу. — Проклятый, гнилой ящик, а не диван!

Перейдя к буфету, стоявшему у окна в сад, Шиммельпфениг пощупал и его.

— Дубовая фанера, кажется, мало изношен, — этот, пожалуй, подойдет. Если только лейтенант Ласвиц... Но куда они ему? Один буфет отправил из Ковно, два из Курземе...

— Что это такое? Это — дверь? — спросил он вдруг.

— Да, господин фельдфебель, — подтвердила хозяйка, — там комната, комната нашей Илги, господин фельдфебель.

Господин фельдфебель счел своим долгом снова рассердиться, затопал сапогами по полу.

— И вы молчите, мне ничего не сказали, мошенники проклятые! «Наша Илга»... Ничего здесь нет вашего, поняла?

Остерегаясь, осторожно побрел к двери, таща за собою винтовку за ствол. Сначала чуть приоткрыл, потом осторожно штыком раскрыл двери настежь.

— А! Здесь кажется весьма уютно! Здесь спит барышня... Да, это подарочек для господина лейтенанта... И комод, и зеркало...

И Шиммельпфениг влез в комнату, чтобы исследовать ее основательно. Оба старых Норишей вытянули шею навстречу друг другу.

— Ну, видишь ты, мать? — шепнула хозяйка. — Они нас ограбят вчистую, все заберут.

Хозяйка Норишей никак не могла себе представить, что дело обстоит именно так.

— Не может этого быть, отец, что же мы будем тогда делать, голые и босые? Нет, не может этого быть! Этот ведь простой солдат, да еще пьяный. Возможно, что он уже в Германии был сорванцом и конокрадом. Когда придет сам лейтенант, поговори лучше с ним.

Шиммельпфениг вернулся из комнаты, держа винтовку подмышкой, в руках у него виднелись разные мелочи: рамки для семейных фотографий, три-четыре коробочки, зеркальце, вазочка, фигурки из стекла и фарфора.

Высыпав награбленное на обеденный стол, он очень старательно и деловито

стал осматривать вещи. Пухлые, с обкусанными ногтями пальцы жадно все ощупали.

— Гм... слоненок, — бормотал он про себя. — Слон — означает счастье. Счастье — для дочери этих скотов!.. Навозный жук найдет свое счастье в навозе моей лошади...

Фельдфебель рассмеялся, как будто сказал нечто весьма остроумное, и сунул фигурку в карман.

Ему стало жарко, он попробовал растянуть куртку, но спохватился, услышав во дворе голос лейтенанта Ласвица, что-то говорившего на своем балтийском наречии. Шиммельпфениг выскочил из комнаты.

— Картофель из погреба не берите, бараньи головы эдакие! Разве в поле свежего теперь нехватает? Прощупать все, нет ли где сала, я хочу кушать!

Весь дрожа и прикрыв ладонью рот, Норитис успел шепнуть жене:

— Если только начнут жрать, нас оставят в покое...

Лейтенант продолжал отдавать распоряжения:

— Ефрейтор Брудне, сюда! Шиммельпфениг, все ли в порядке?

— Как приказали, господин лейтенант!

— А там внутри есть ли что хорошенькое?

— Ничего подходящего, господин лейтенант. Кроме старого барахла ничего. Да в придачу к нему две старые обезьяны.

— Обезьяны? — Но он быстро раскусил, в чем дело, и зарычал от удовольствия. — Ах, так! Хорошо сказано, старина! Меткое слово у тебя всегда под рукой. Ну, посмотрим.

Господин лейтенант вошел в дом, твердо шагая, но гордо выпятив грудь. Сзади него шагали Шиммельпфениг и ефрейтор Брудне и уже за ними плелся Каситис, один из соседей хозяев усадьбы. Каситис имел такой вид, как будто все время пытался пролезть в щель, но из этого ничего не выходило.

— Где они — эти самые? — спросил лейтенант, водя глазами по комнате. Как мог он разглядеть каких-то двух

латышских старичков, он, перед взором которого возникали, выплывали пирамиды, Гималайские горы, Калифорния и Амазонка? В конце концов, он все же разглядел старичков. А, одна! А это вторая? — Вторая, правда, была вторым, но разве приличествует покорителю мира разбираться в определении пола этих созданий? По крайней мере, не сразу и только спустя значительное время он стал оглядывать их со всех сторон. — Обезьяны? Действительно! — Он рассмеялся так, что сверкнули золотые зубы. — У тебя, Шиммельпфениг, верный глаз.

И вдруг расвирепел. Стукнул ногой и заорал, как раздраемый на части:

— Шпек!*

Шиммельпфениг, подражая ему:

— Буттер!**

И, наконец, ефрейтор Брудне:

— Эйер!***

Хозяйка Норишей, следуя своей плохой привычке, отмахнулась обеими руками.

— Нет, нет у нас, господа, ни шпека, ни буттера, ни эйера...

Ласвиц подполз к старушке со сжатыми кулаками, с искривленным от злости ртом.

— Нет? У вас нет, когда я хочу есть? У вас будет, когда я это говорю!

Но, на счастье стариков, он увидел разложенные на столе вещи.

— А! Это уже кое-что! — потрогал, разглядел и остался не удовлетворенным. — Шиммельпфениг! Это только и всего? — Шея общипанного петуха вытянулась перед хозяйкою Норишей. — Где золотые вещи?

— Нет у нас, господин...

— Хорошо. Подождем, все найдется, как миленькие! — Шея лейтенанта протянулась к фельдфебелю. — Старина! Только всего здесь и было? Ты ничего не взял?

— Ни булабочки, господин лейтенант! — он вытянулся в струнку. — Как я возьму, раз это запрещено.

Лейтенант погрозил кулаком и, за-

бывшись, обратился и к нему с речью на ломаном языке прибалтийских латышей.

— Я тебя знаю, старый жулик! Ты воруеть как-раз то, что запрещено. Придет время, я тебя предам военному суду, запомни это хорошенько. Сколько раз я тебе говорил: сначала я, и только потом ты! Можешь брать, что останется после меня.

Увидев на стене портрет, Ласвиц схватил его обеими руками и долго изучал его.

— Кто такой этот есть? — спросил он хозяйку. — Этот здесь, что за человек есть, этот?

— Я не знаю, господин лейтенант, — солгала она и, словно ища спасения, забилась в угол к мужу.

Подбежал Каситис.

— Позвольте мне, господин лейтенант. Это — Грикис! Это тот самый Грикис, господин лейтенант...

Ласвиц взбесился. Скрипя зубами, он выдвинул:

— А, Грикис! Теперь ты, собака, в моих руках! Теперь я тебе!.. — Он вырвал портрет из рамки, хотел было разорвать его, но спохватился и стал внимательней разглядывать. — Так, стало быть, выглядишь ты, проклятый бандит! — и он засунул фотографию в сумку. После этого набросился на хозяйку Норишей. — Так вот каков ты у меня! Партизанов прячешь, старая образина! Где он сейчас, этот Грикис?

— Кого я скрываю, гер лейтенант? — старик притворился дураком. — Я его совершенно не знаю.

Каситис вновь бросился на помощь!

— Врет он, господин лейтенант. Крышу от дома Грикиса прекрасно видать отсюда, сам он каждый вечер приходил сюда в гости, — готовился стать женихом их дочери.

— Ах так, ты еще лжешь! — лейтенант набросился было на старика, но в это время внимание его привлекли бутылки, стоявшие на столе. Он отпустил старика, поднял бутылки против света и долго исследовал.

— Вроде, как будто, вино...

Хозяйка Норишей уже давно подмигивала мужу. Теперь и старик, наконец

* Сала!

** Масла!

*** Яиц!

спохватился и пустил в ход свой особенный немецкий язык.

— Гут вейнинь, гер лейтенант!

Ласвиц и фельдфебель переглянулись между собой и засмеялись, — лейтенант, трясясь и извиваясь, солдат, подобострастно подхихикивая.

— Стакан, Шиммельпфениг! Последний раз я пил в обед, но это уже давно. Фельдфебель направился к буфету и принес три стакана.

— На! Выпивай-ка первый! — приказал лейтенант. — Еще неизвестно, не подмешала ли эта скотина к вину крысиного яда.

Шиммельпфениг словно обжег себе кончики пальцев, так быстро швырнул он стакан обратно на стол.

— Господин лейтенант, у моей Клары семеро и восьмой скоро будет... Так пусть уж этот старый попугай пьет первый!

Лейтенант согласился с ним.

— Правильно. У тебя котелок варит, старина. Эй, ты там! Иди сюда и покажи, как пьют вино!

— С удовольствием, гер лейтенант! — я Норитис быстро и в то же время неуклюже подошел к столу. — Сам готовил, чистый сок красной смородины и черной. Гут вейнинь, гер лейтенант...

Но когда он протянул руку к стакану, офицер ударил кулаком по столу.

— Что? Из моего стакана! Не лезь своим рылом в мой стакан. Слизывай го, что пролито на стол!

— Как же это так, гер лейтенант? — промямлил Норитис, заикаясь. — Свое же собственное вино со стола... как собака...

Ласвиц сунул свой тонкий, красный нос почти в самое лицо старика.

— Ничего своего у тебя здесь нет, ничего. Вбей это в свою дурацкую башку! И когда я приказываю, ты будешь собакой, ты будешь даже лаять! Нужно будет, станешь лошастью и ослом... Ах да, ты уже осел!.. Вылизывай, раз я тебе говорю! — Он схватил старика за шиворот, нагнул ему голову, толкнул с такой силой, что о доску сначала уда-

рился нос, затем подбородок и, наконец, лоб. — Лоц-лоц-лоц!..*

Все трое, нагнувшись, следили за тем, как старик, роняя слезы, вылизывал вино.

Брудне рычал от удовольствия и извивался от смеха.

— Только-что он влил в желудок, а, глядь, через глаза уже вытекает наружу! Лейтенант выпил свой стакан и сморщил лицо.

— Одно сусло. Постыдное дело: немецкий офицер вынужден пить то, что эдакая латышская образина сюда нацедила.

Он налил себе еще и выпил. Бросил каску на стол и расстегнул китель. Сел спиною к столу, откинув на него локти, положил ногу на ногу и покачал ими.

— О-ох, ох! Теперь все было бы хорошо, только бы еще закусить, — пока-то ребята сдерут шкуру с телянка. Эй, старая, разве у тебя ничего нет съестного?

— Ничего нет, господин лейтенант, — сочувственно покачала головой хозяйка Норитисей.

Но тут выскочил вперед Каситис.

— Как нет у тебя? Еще в субботу пекла пироги и лепешки на дрожжах...

— Ах, да, — вспомнила вдруг хозяйка, — один пирог еще остался, правда, засох несколько, черствый.

Она быстро побежала к буфету и принесла. Возвращаясь в свой угол, по пути шепнула сердито Каситису:

— Ну и нос у тебя длинный, как у чорта...

Каситис успел только показать ей язык. Ласвиц отломил от пирога меньшую половину, протянул было ее фельдфебелю, но потом отдернул и выбрал из пирога изюм. Шиммельпфениг жадно вцепился зубами в кусок пирога и только тогда вспомнил о Брудне, который уже лез к нему. Как и Ласвиц, он отломил ему меньшую половину, выбрал весь изюм и уже потом подал кусочек пирога. На время в комнате было слышно одно лишь чавканье, словно хозяйка только-что налила в корыто корм своим пороссятам.

* Лиж, лиж, лиж!

4.

На дворе и в коровнике мычала скотина. Изредка раздавались самодовольные возгласы армии победителей. Сад за окном казался сплошь тонущим в плывущих темносерых облаках, это был дым от подожженных и горевших полей.

Шум все возрастал во дворе. Кричало несколько немцев, постепенно из хаоса голосов стали ясно слышны отдельные слова, которые можно было разобрать.

— Шпек... буттер... эйер...

Старые хозяева дома дрогнули и сжались, словно ужаленные, — они услышали голос Яниса:

— У нас нет ничего! Ищите сами!

— Как нет! — орал немец во все горло. — Фриц, дай ему разок!

— Оставьте меня в покое, негодяи: вы не воины, а бандиты!..

Прислушиваясь к шуму, лейтенант Ласвиц дал рукою знак.

— Шиммельпфениг! Взгляни, что там творится!

Но не успел фельдфебель сделать и двух шагов, как в дверях показались три солдата, ведущие Яниса.

— Господин лейтенант! — доложил Шиммельпфениг, — они привели того малого.

У лейтенанта глаза сверкнули, как у кошки.

— Кого привели? Этого самого Грикиса?

— Нет, здешнего молодого хозяина, взяли у косилки, — отозвался солдат.

— А, у косилки! Неплохо. Входи, входи, посмотрим, что ты за птица.

Янис был без фуражки, рубашка вся разорвана, через лоб протянулся кровавый след. Ставшая белою, как полотно, мать прислонилась к стене и опустила низко голову.

Ласвиц кричал все громче:

— Тащится, как черепаха, ближе ко мне! А рост, как у быка... Кто он?

— Янис Норитис, первый друг и помощник Грикиса, — отрапортовал Каситис.

Балтиец тер свои ладони, словно они у него зудели или он катал мякиш из хлеба.

— А!.. Друг и помощник! Друг и помощник! Звучит прекрасно, как в поэме Шиллера...

И вдруг весь позеленел.

— Доннерветтер! Как смеешь ты быть в одной компании с бандитами, грабителями с большой дороги и лесными бродягами, с этими... — выгнув шею, он вдруг поперхнулся, — с этими, так называемыми, партизанами?.. Вы думаете задержать победоносное шествие немецкой армии! Стрелять в немецких солдат! Сжигать наши транспорты!.. Как навоз, как пыль, мы вас!.. Что глядишь волком? Почему молчишь, раз я с тобой говорю?

Вытерев себе лоб уцелевшим рукавом рубашки, Янис твердым голосом сказал:

— Вы не спрашивайте ничего у меня.

— Ах, так! Достопочтенный господин желает, чтобы я ему поклонился. Будьте терпеливы, высокоуважаемый, конечно, вам было бы более выгодно, если бы я вообще не допрашивал вас. В чем дело? Долго ль молчать будешь?

Янис равнодушно пожал плечами. Казалось, что лейтенант вот-вот разорвется от злости.

— Немецкий солдат делает все, что захочет. Захочет, свернет голову тебе так, что нос окажется на спине. Как тебе нравится эта процедура?

Победители заржали от удовольствия, громче остальных выражал свой восторг Брудне.

— Да, это была бы остроумная штука! Ее мы еще не испробовали, разрешите заняться, господин лейтенант?

Смех и шутки солдат развеселили и их начальника. Но, заметив, что на лице Яниса отразились чувства отвращения и жгучей ненависти, лейтенант вновь раскричался:

— Ты что корчишь рожу? Мессершмидт, дай ему раз по шее!

Солдат замахнулся прикладом винтовки, но Янис ловко уклонился от удара. Властным мановением руки Ласвиц остановил Мессершмидта.

— Успеешь с этим делом, сначала надо его допросить.

В это время у наружных дверей показались еще двое солдат, ведущие

Илгу. Круглые глаза лейтенанта стали еще шире.

— Кто такая? Где вы ее поймали?

— Наверху, в коровнике, господин лейтенант, — последовал рапорт. — В клевере спряталась. С большим трудом Фалк ее оттуда вытащил.

С растрепанными волосами Илга выглядела, как безумная. Она вырвала сначала одну, затем другую руку из тисков.

Ласвиц, потирая руки, придвинулся ближе.

— Великолепно! — радовался он. — Эта добыча кое-чего стоит! Как зовут тебя, фрейлен?

— Как и вчера звали, — утиный нос! — отрезала она.

Ласвиц отпрянул назад, чувствуя в ее словах что-то оскорбительное для себя.

— Как, как ты сказала? Каситис, кто она?

— Его сестра, господин лейтенант, — объяснил Каситис, на всякий случай ради безопасности спрячась за спиною солдат. — Илгой звать ее. Невеста Грикиса.

Не успев еще сесть, Ласвиц снова встал.

— Опять он — этот бандит!.. Невеста его... невеста под кустиком или под стогом соломы! А где он сейчас, твой женишок?

— Гораздо ближе, чем бы вам хотелось, — ответила Илга про себя и в то же время бросила на немца осиный, жальший взгляд.

Лейтенант не выдержал ее взгляда и отвернулся.

— Ведьма, чистая ведьма! Как думаете, ребята? Как только мы захватим бандита, а в этом я ничуть не сомневаюсь, это произойдет еще сегодня ночью, и вот, тогда-то, захватив обоих, не свяжем ли мы, ребята, жениха с невестой вместе? Эдак хорошенько, покрепче — колючей проволокой...

Со страхом следя за Илгой, мать подняла было руки, чтобы удержать ее от излишней опрометчивости, но было уже поздно. Илга, сначала на родном, потом на немецком языке внятно отчеканила:

— Наших свиней эти пьяные грабители загнали в хлев. Позови, мать, сюда

старую свинью-пеструшку, только я сомневаюсь, захочет ли она посетить это общество.

Лейтенанта точно пружиной подбросило вверх.

— Закрой глотку, ведьма! Мы тебя привяжем веревкой к кушетке. Шиммельпфениг!

Схватив налитый стакан и выпив залпом, фельдфебель козырнул.

— Как прикажете, слушаюсь, господин лейтенант. Но только господин майор приказали — первую красавицу доставить ему.

— Ты прав, — согласился Ласвиц. — Все молоденькие попрятались в лесу. Запри ее и поставь стражу. Где ты поместишь ее?

— Я думаю, лучше всего в леднике, там не испортится.

Шутка фельдфебеля вызвала новый взрыв смеха.

Они схватили пленницу и увели.

Опустошив еще два стакана вина, лейтенант снова упал в кресло, спиной к столу.

— А ну-ка, двиньте его поближе ко мне, верзилу!

Солдаты подтолкнули Яниса.

— Стоять прямо, увалень! Отвечай мне все по порядку. Почему ты не поджег своей усадьбы, как Грикис, и не убежал вместе с ним?

Янис отвечал, точно нехотя, с трудом выдавливая из себя каждое слово:

— Зачем мне поджигать и убегать, в советских учреждениях я не служил, в свое время был в рядах айзсаргов, поэтому я думал, что немецкое войско не тронет меня.

— Неплохо придумал, паренек! Мол, я останусь, чтобы делу вернее помочь: немецкое войско меня не тронет, а я, мол, сумею нужные сведения передать тем остальным, в лесу. Не так ли, голубок мой?

— Шпионажем я не занимаюсь, это родная стихия Каситиса.

Каситис погрозил своим пухлым кулачком.

— Не верьте ему, господин лейтенант! Он лжет. Ну, скажи сам, Янис, не был ли Грикис тебе роднее брата?

— Таким свиньям, как ты, я не отве-

чаю, — не взглянув даже на него, отрезал Янис.

— Господин лейтенант, — пробовал снова жаловаться Каситис, — он меня ругает.

— Ты вполне заслужил этого, — Ласвиц перебрал ногу на ногу. — Так, так, значит, в шпионаже ты неповинен. Ничего, милоч, в штабе довольно быстро расправляются с подобными тебе. У нас по этой части богатый опыт и есть свои специалисты, великолепные знатоки своего дела. Знаешь ли ты, как поступаем мы с молчаливниками, не желающими говорить? Возможно, без привычки, тебе кое-что покажется и неожиданным, и неудобным, ну, тут уж я ничем помочь не могу, с дикарями и варварами иначе и обращаться нельзя.

Стиснув зубы и сжав кулаки, выслушивал Янис повествование лейтенанта. Отец дрожал, забившись в свой угол, мать стонала, закрыв лицо ладонями.

Когда искатели краденого удалились, вполне удовлетворенные собой, господин лейтенант зевнул с наслаждением. Бутылки опорожнились, руки лейтенанта ослабли, сам он еле держался на ногах. Поглаживая рукою хлыст, он приблизился к хозяйке Норией.

— Ну, мамаша, как мы себя чувствуем? Дочь в погребке на льду. Сынка твоего мы легонько подогреем на угольках...

— Сумпури! * — забыв все на свете, крикнула старая хозяйка.

Лейтенант Ласвиц вскочил, как ужаленный.

— Что? Что мычишь, дряхлая королева? Как ты сказала? — и он изо всей силы ударил хлыстом старуху. — А? Вкусно?

Но тут произошло нечто такое, чего, очевидно, не ожидала и сама хозяйка Норией. Она плюнула прямо в лицо немцу и опрометью выскочила из комнаты вон.

Остолбенев на одно лишь мгновение, Ласвиц яростно зарычал:

— Хальт!.. Хальт!..

Снаружи, за дверью, тоже кричали:

— Хальт!

Потом раздался выстрел, и все замолкло.

— Ну? — справился лейтенант. — Попали?

Из-за раскрытой двери раздался голос:

— Ногами еще дрыгает!

— Пальните еще раз!

Раздался еще один выстрел. Немец сжимал от досады кулаки.

— И-их! Ведьма! Бежит, когда велено стоять! Такой наглой может быть только латышская баба! Ни малейшего уваженья к дисциплине!

Стерев с лица рукавом плевков, немец набросился на Яниса:

— Долой лапы от лица! Руки пошвам! Все зубы расквашу, негодяй! Загоню в глотку!

Но он настолько измотался и опьянел, что забыл угрозу и тяжело опустился на стул.

5.

За раскрытыми дверями мелькнула на мгновение фигура балтийца-предателя Каситиса. Потом раздался голос Шиммельфенига, после чего показался и он сам.

— Приказ-донесение из штаба, господин лейтенант. Прошлой ночью у какой-то мельницы партизаны напали на наш транспорт.

— Проклятые латышские псы! — выпалил лейтенант Ласвиц. — Если наш майор хоть одного из них оставит живым, я больше не офицер немецкой армии.

— Летучий отряд уже преследует их, словно зайцев. Господин майор уже дал распоряжение взять под охрану все дороги этого района. Мне и Мессершмидту приказали взять под наблюдение все перекрестки дорог, с которых мы свернули по пути сюда.

— Скверные делишки! — морщился от досады немецкий офицер. — Как будто в данный момент я сам не нуждаюсь в своих людях. Сколько солдат мы имеем налицо?

— Сорок три, господин лейтенант.

* Сумпури — в мифологии люди с собачьей головой.

— А сколько лошадей?

— Только ваша осталась, господин лейтенант, четырех отправили на станцию с возами. Правда, были еще две, которые находились в поле возле косилки хозяина, но, говорят, пропали, кругом ведь дым, ни чорта не видать. Одна косилка горит в поле. И пастушонок куда-то смылся.

Желая опереться на свои локти, лейтенант промахнулся и чуть было не грохнулся со стула.

— Все у вас, окаянных чертей, исчезает и пропадает! Чтобы к завтрашнему утру все было собрано!.. Охрану выставил?

— Как приказали. Возле коровника, погреба — пулеметы, то же и у дверей и окон. Остальные посты расставлены вдоль всей опушки леса.

— Проверь посты еще раз. Я хочу хорошенько выспаться, вчера была весьма тяжелая для меня ночь.

— Да ведь у господ офицеров имелся коньячок, да жареный гусь, даже целых четыре.

Ласвиц невольно зажмурил глаза при воспоминании.

— Да, именно так, Шиммельпфениг. Четыре гуся, плавающие в чистом масле! Это был настоящий праздник. Из-за одного этого стоило вторгнуться в так называемую Латвию... К чорту! Что это он тащит сюда?

Согнувшись под тяжестью ноши, Брудне тащил целую бутылку вина. За ним следовал, покачиваясь, Мессершмидт, захопнувший за собою дверь перед самым носом Каситиса.

— Приказ выполнен, господин лейтенант, — рапортовал Брудне, поставив бутылку на стол. — Вырыли!

— Похоже на вино, — прищурив один глаз, разглядывал бутылку Ласвиц.

— Гут вейнинь! — смеялся Брудне, вспомнив выговор хозяина. Оглянулся. — А куда подевалась эта старая образина?

Оглянулся и Мессершмидт.

— Гм! Как будто он шел следом за нами... Скорее всего, что Каситис задержал его там, во дворе.

Исследовав тщательно огромную бутылку, Ласвиц развалился на диване.

— О, как приятно размять свои кости! С такими негодьями не диковина и нервы растрепать.

Шиммельпфениг потянул Мессершмидта за рукав.

— Пойдем, время уже. Было приказано с закатом солнца, а сейчас уже ночь. — Проходя мимо, он встряхнул Рилке, стоявшего в продолжении всего этого времени около Яниса: — Будешь ли ты, наконец, стоять, как полагается солдату!

Лейтенант Ласвиц зевал и с большим трудом старался держать глаза открытыми. Тяжело взмахнув рукой, Брудне наклонил бутылку и доложил:

— Здесь ничего нет, один только глиняный горшок.

— Проклятые жулики, все запрятали, зарыли!.. Ну, чорт с тобой, наливай хотя бы в этот проклятый горшок, как же я иначе доберусь до вина? — Ласвиц поднял и положил ноги на стол, спихнув на пол все, что там стояло. Еще раз зевнул, высморкался. — Спать охота досмерти! Не найдется ли здесь лампы? А то в темноте вино вместо глотки за воротник можно направить.

В первой комнате лампы не оказалось. Брудне отправился в комнату Илги и донес:

— Здесь я нашел свечу, господин лейтенант. — Через минуту он вернулся с зажженной свечой.

— Господин лейтенант! Я нашел здесь кровать, комод, хорошее белье, не прикажете ли упаковать? — сказал он, высунув голову из-за двери.

Услышав это, Ласвиц моментально приподнялся с сиденья.

— Хорошее белье? О, это пригодится для моей Гретхен. Возьми мой чемодан за дверью.

Шатаясь, Ласвиц присел на корточки возле открытого чемодана, жадно ощупывая простыни.

— Настоящее льняное полотно, вот это подарочек! Тащи и все остальное сюда же!

Брудне вынес еще охапку. Лейтенант от радости воодушевился и сиял.

— Совершенно новые! Да еще с кружевами! И пахнет все это свежими цветками липы!.. И такие вещи носила эта королева-девчонка... Позор!

Напрасно он старался коленкой прижать крышку, чемодан не закрывался. В сильном опьянении офицер не догадался даже посмотреть, входят ли запоры.

И вдруг произошло совершенно неожиданное. Янис Норитис уже давно следил за всем происходящим, лишь изредка косясь на своего стража и одновременно прикидывая расстояние, отделявшее его от стола. Внезапно он бросился на Рилке и нанес ему кулаком страшный удар в подбородок. Солдат грохнулся на пол, задрал ноги вверх и выпустив из рук винтовку, с грохотом упавшую на пол. После этого Янис одним прыжком очутился возле лейтенанта и так ударил его каблуком сапога в бок, что офицер, зарывав от боли и задыхнувшись, словно сноп, свалился на чемодан. Выбегая из комнаты, Янис мимоходом подхватил кобуру с револьвером и гранату.

За дверью, словно раздираемый на части, завопил Каоситис:

— О, дьявол! Держите!.. Стреляйте!..

Среди всего этого шума раздался взрыв гранаты, на столике подпрыгнула свеча, двери с треском ударились об стену. На дворе поднялась невероятная суматоха, послышался топот бегущих ног, гремели выстрелы, удаляясь в сторону леса.

Тяжело дыша и сжимая руками бок, лейтенант Ласвиц пытался подлезть под круглый столик и при этом охал и стонал.

Сидя на полу, Рилке беспомощно старался схватить свою винтовку и еле проворчал:

— Как при-ка-жете, слу-шаюсь, господин лейтенант...

Кое-как прижав к себе винтовку, белый, словно полотно, Рилке грудью навалился на подоконник и, натыкаясь собственным носом о штык, круглыми, как у испуганного теленка, глазами ошалело оглядывал пустой сад.

6.

Глубоко в лесу, за болотным лугом, слабо мерцал огонек костра.

Чтобы его заметить, надо было пробраться сквозь густые заросли ельника, березняка и молодой рябины. Лишь теперь перед вами открывалась небольшая полянка, поросшая длинной, желтой метелкой.

Разводить огонь в таком месте было, пожалуй, не совсем разумным поступком. Дело в том, что если снизу огня нельзя было заметить уже на расстоянии десяти шагов из-за густой чащи, то этого никак нельзя сказать о поднимавшихся к ночному небу искрам и дыме.

Такой скрытно разведенный огонь бывает порою предательским, — разве можно заранее предвидеть его капризы и уловки? Но у тех людей, которые собрались вокруг костра, не было необходимого опыта. Поэтому-то они и действовали неосторожно.

Правда, в тот момент, о котором идет речь, еле-еле тлели несколько оставшихся угольков от каких-нибудь пяти-шести сгоревших поленьев. В красноватом отблеске костра удавалось различить лица тех десяти-двенадцати человек, которые расположились на поросшей козылем полянке, сидя спиною к окружавшей их лесной чаще. Некоторые из них лежали, подложив под голову свернутые пальто, другие сидели, третьи стояли, опираясь на ружья и винтовки. У самого костра, вытянувшись на земле и подперев ладонью голову, лежал бородатый старичок, рядом с ним в траве валялся топор.

Известный в волости трепальщик льна, стремительный, горячий и говорливый Рийникс сидел на поросшей сухим папоротником кочке, зажав между колен винтовку, и с большим аппетитом уплетал кусок белого пшеничного хлеба.

— Хлебушек-то мягкий еще, — радовался он. — Кто его знает, в какой усадьбе эти черти отобрали этот каравай хлеба, выпечки наших латышских хозяек! Ведь немецкий хлеб иногда

сорта. Да вот глядите, тут налицо об-разчик ихнего хлеба.

Кузнец Пуполс добавил от себя:

— Но все же немец его грызет.

— Только потому, что рот у него человеческий, но зубы-то крысиные, — пояснил Рийникс. — Приказывает Гитлер ему грызть кости, он и грызет.

— Зато они, сволочи, сейчас на Украине пробуют распознать, насколько вкусна мякоть жирного мяса и сала.

— Да. Шпек, ботей унд айэй. Чужое добро глотают жадно, проклятые!

При этом Рийникс сильным взмахом руки швырнул каравай немецкого хлеба прямо через голову в кусты.

— Гляди, как бы потом не пришлось самому обратно его вытаскивать из кустов, — сделал замечание новохозяин Рейнвальд. — Кажется, и консервные коробки с их воров наш командир запретил тебе прятать в карманы?

— В этом-то и дело, что не запретил, он говорит, что, может быть, в них воронье или лягушечье мясо. Тьфу! Даже мутит душу! А Микус принес вчера из Норишей большой мешок копченой ветчины, но командир почему-то ее не дает нам.

— Милый, кто тебя не знает, — покачал головой новохозяин, — тебе только дай, в один вечер все слопаешь, а там грызи хоть еловые шишки. Наш командир прекрасно понимает, что он делает.

— Подумашь, командир, начальник! — неуважительно отозвался льнотрепальщик. — Сами выбрали его, и сразу он уж и командир!

Пуполс сделал шаг вперед.

— А ты что думаешь? Немцы, что ли, должны были назначить его нашим командиром?

Рийникс сердито повернулся набок, но, заметив, что бородатый старичок подбросил свежее полено дров на тлеющие угли, напустился на него:

— Послушай-ка, Краст, для чего ты это делаешь? К чему разводишь целое кострище? Чтобы немцы не заблудились, разыскивая нас?

Краст ответил тяжеловесно, с остановками, не спеша:

— Ветер развеет дым, отражения от

огня не увидишь уже за двадцать шагов. Холодно... И комары кусают, словно взбесились.

Льнотрепальщик презрительно усмехнулся.

— Вроде как партизан, а комаров боится! Обожди, немецкие пули кусаются сильнее. Только первый вечер без старухи, гревшей твои бока, и уже, батюшки мои, замерзаешь.

— И что моя старушка плохого тебе сделала? Чужая кошка не пройдет мимо, чтобы она ее не погладила и не приласкала.

— Ей бы погладить одного из ихних фрицев, — зубоскалил Рийникс. — И какого чорта она лезла им на глаза?

— Она и не думала им показываться, — продолжал старичок, приподнявшись. — Вместе с Уплейсом мы кое-что прятали, там, за школьной оградой, когда они вдруг ворвались во двор... Ты скрывайся скорее в роще, — сказал мне учитель. — А я, говорит, отопру двери, чтобы не взламывали. Ну, я спрятался, а сам поглядываю сквозь ветки кустов, вижу, она бежит с узелком, а в нем одежда учителя. А тут сразу один из них, в каске, кричит: Хальт! Хальт! Не успела она даже и остановиться, узелок через голову, сама боком, боком, опустилась на травку, словно ее, родную, подкосили косою...

После этого рассказа даже и Рийникс не нашелся, что ответить.

Разговор прервал тракторист Лиепиньш. Он появился со стороны болота и привел с собою старого Норитиса. Старику нужно было переговорить с командиром. По словам Норитиса, у него застрелили жену.

— Что? — вскрикнул Краст, словно он получил неожиданную поддержку в своем горе. — У тебя тоже? Ну, скажи на милость, совсем, как у меня.

Пуполс объяснил пришедшим, что сейчас командир, вместе с ним Лусис и другие начальники отрядов заняты обсуждением плана действий на эту ночь.

— Да, — вмешался в разговор Рийникс, явно иронизируя, — разрабатывают план, словно Скобелев под Плев-

ною. Кажется, уже целый час, как совещаются!

Смертельно уставший и нравственно разбитый событиями дня, старый Норитис занял место возле Краста.

— Стало быть, мы с тобой как бы осиротели, двое вдовцов, — сказал он, еле сдерживая слезы. — Почти сорок лет все вместе и вместе, век, как говорится, рука об руку прожили и даже умереть ей не дали спокойно и честно... Что мне делать дальше? Если Грикис не примет в свой отряд, остается только накинуть на себя петлю и повеситься на первом же суку...

— Не горюй! — успокаивал его Рейнвальд, — подожди, я позову командира.

Между тем, Рийниекс все еще никак не мог успокоиться и стал бранить старого Норитиса:

— По правде сказать, фрицы допустили в своих действиях ошибку, твоя старая хозяйка должна бы жить, и не ее, а тебя бы следовало... Разве я недостаточно наслушался всего, работая весною у вас? «С красными жить невозможно», — так пели вы с утра и до вечера. — «Пусть уж лучше придут немцы», — так болтал ты повсюду. Был бы у нас более энергичный исполнительный комитет, давно уже следовало тебя улечь... Но кто мог этим заняться, когда сам Грикис норовил стать твоим вятем. Вот тоже и Янис. Возможно, как-раз в эту минуту он сидит в комнате в компании офицеров и предает всех нас в розницу и оптом. Каситис чересчур уж пустой и легкомысленный человек, такой мало пользы принесет им.

Норитис продолжал рыдать.

— Ты говоришь... в одной комнате... Нет! В разорванной рубашке, весь избитый, с кровавым швом поперек всего лба...

Уплей не выдержал и прикрикнул сердито на Рийниекса:

— Яниса ты не трогай! Я его лучше знаю, чем ты.

Рейнвальд вернулся от командира.

— Начальник отряда сейчас придет. Он опрашивает вновь прибывших. Часть пришла из усадьбы Айзсилниски, дру-

гие дальние. Словом, неплохо растет наш отряд.

— Растет-то он растет, — процедил сквозь зубы, снова не удержавшись, лютотрепальщик, — но если к нам будут примыкать подобные этим, вооруженные чем попало — топорами да вилами, то у нас, в конце концов, получится не партизанский отряд, а просто сброд...

Его осадил кузнец:

— А ты с пушками явился сюда в лес, так что ли? И все же у тебя сейчас в руках отличная винтовка!

Любуясь своей винтовкой, Рийниекс погладил ее и приподнял.

— Подходящая штука, что и говорить. Но что за чортов народ такой! Корочки хлеба нету, чтобы погрызть, а винтовки, танки выпускают.

— Таковы их система и метод, — пояснил Пуполс. — Сам Гитлер говорит: немецкому народу нужны пушки, а не масло.

— Пусть обождут немного, в Советском Союзе им намажут бутерброды, — добавил Рейнвальд.

Партизаны смолкли, из леса вышли командир Грикис, сильный, крепкий мужчина, с винтовкою через плечо, вслед за ним его помощник Лусис и Микус из Норитшей. Старик Норитис от неожиданности вздрогнул и повернул к ним голову. Грикис бросил на него долгий испытующий взгляд.

— Выходит, что и ты сюда пришел, Норитис? Что тебе нужно от нас?

— Другого ничего не хочу, как просить вас принять и меня в ваш отряд. Моя старушка погибла от рук...

— Об этом мне уже рассказали. Но тебе они почему-то предоставили возможность бежать, это кажется мне несколько странным.

— Не только странным, но и весьма подозрительным! — вмешался опять Рийниекс. — Его как следует надо прощупать и допросить. Не привел ли он за собою фрицев?

Норитис в ужасе всплеснул руками.

— Сынок, как у тебя язык повернулся сказать это!

Лиепиньш, выглядевший вообще усталым, во время этого разговора несколь-

ко раз откашлялся, как бы желая вмешаться в беседу.

— Я и Трейманис стоим на самых дальних постах, там, в углах. Он пришел, мы это видели, по лесной дороге и при этом совершенно один.

— Наши посты стоят по всем дорогам, — сказал Грикис.

— Но все же ты нам расскажи, как было дело у тебя. Только покороче, у нас нет лишнего времени.

Норитис по привычке зачастил было:

— Все это произошло так: я поставил в буфет две бутылки вина, чистый сок красной и черной смородины... Гут вейнинь... сказал я ему, тринк, гер лейтенант, я ему...

— Хорошо, хорошо, — нетерпеливо перебил его Грикис. — По-немецки говорить ты умеешь, в этом мы не сомневаемся. Ну, а дальше что?

Рассказав все, что произошло с ним, Норитис, всхлипывая, закончил:

— И вдруг, вижу, бежит моя, словно полоумная! Старый, слабый человек, ревматизм в коленях, как только ноги ее понесли! Тот у двери — «Хальт» и со всей злостью винтовку к плечу... Выстрела я не слышал, но она, как сноп, повалилась на землю, только ноженьки ее бедные дергаются... судорожно...

Краст всхлипывал:

— Точь-в-точь, как с моей... Ну, прямо точь-в-точь...

— Что там дальше было, я уже не помню. Заметил только, что кругом меня лес и что я бегу изо всей мочи... Мысль одна — добраться до Грикиса и найти его... Вперед просветлело, стало просторней. Гляжу — луг... Там и встретил я Лиепнишша и того, другого.

— То хромой Трейманис, — пояснил Лиепнишш. — Да, так оно действительно и происходило. А сейчас мне необходимо вернуться, Трейманис остался совершенно один.

— Да, да, ступай, — распорядился Грикис. — Проследи, все ли на своих местах. Передай всем — пусть будут готовы, скоро мы отправимся в путь...

— Решено, что мы нападаем на штаб? — спросил Пуполс.

— Да. Направимся в народный дом в

Гаршен. Пусть только луна спустится ниже, зайдет за вершину ельника...

7.

Командир отдал распоряжение не разжигать больше костра. Оба старика — Норитис и Краст — уселись поближе к огню и грели руки над углями, хотя ночь была довольно теплая: оба они ощущали внутренний холод от пережитого.

Грикис стоял, опираясь обеими руками на винтовку. В отблеске тлеющих углей отражалось его лицо, вылитое точно из бронзы. О чем думал он в эту минуту? Изредка он взглядывал на обоих немощных стариков своими голубыми, острыми, как сталь, глазами, потом его взгляд впивался в расстилавшийся впереди мрак.

Партизаны молча следили за выражением лица своего предводителя. Хотя нападение прошлой ночью на немецкий обоз в их глазах было только игрой, но оно наглядно показало им, что такое война и настоящий кровавый бой. Все те чувства, которые каждый из них переживал в своей душе, они видели отраженными на суровом лице своего командира. Неужели он тоже в данную минуту в чем-то сомневался? Или его обуревали тяжелые думы и мысли о малочисленности и слабости их отряда, решившего восстать и бороться против огромной, вооруженной танками, минометами и прирученной к неслыханным зверствам армии?

Грикис решительно тряхнул головой и бросил твердый взгляд на окружающих, словно желая вырвать из их сердец последние сомнения и нерешительность и вывить недостойных.

К числу последних не мог относиться Рийникс. Он стоял сзади Грикиса и не видел ни его лица, ни его острых и наблюдательных глаз.

— Я не знаю, чего мы еще здесь ждем, — ворчал он. — Целый час вы там совещались с Лусисом, а мы продолжаем торчать на месте. За это время фрицы могут перебраться куда-нибудь дальше.

— Никуда они не уйдут. Они расположились в Гаршене и, по всей веро-

ятности, на продолжительное время, до тех пор, пока не очистят и не прочешут весь район. Озимые в Гаршене уже обмолочены, им хватит, что награбить. Мы имеем оттуда точные сведения. Да, кстати, здесь и Вистуцис, с ним пятнадцать человек, все тамошние жители.

Все чужие собрались на лужайке. Молодой и стремительный Вистуцис выдвинулся вперед.

— Из самого Гаршена нас здесь двенадцать, те трое из местечка Приедайне. Немцы появились только после обеда, до сумерек они еще не успели объехать все дома и усадьбы обих волостей, ведь ночью они боятся покидать свою стоянку не только в одиночку, но и вдвоем. Майор до тех пор не мог успокоиться, пока ему для сна не разыскали пуховую перину. Ее нашли у жены доктора в Приедайне.

Раздались возгласы среди партизан:

— Бойтся, очевидно, латышских блох, раз не хочет валяться на простом мешке с соломой!

— Постараемся его на перине поудобнее уложить и согреть как следует!

Когда утихла голоса, Вистуцис продолжал:

— На завтра обеим волостям приказано свезти весь хлеб на железнодорожную станцию, туда еще сегодня вечером подали целый состав с порожними вагонами.

— Мы его отправим... — сказал Грикис. — Обождем только, пока не стемнеет окончательно, на вашей стороне все еще светло.

— В Приедайне горит кооперативная молочная ферма со всем оборудованием и машинами. В Гаршене горят два дома, люди и скот укрылись в лесу, оттуда должны еще подойти к нам пять крепких парней. Женщин, которые помоложе, немцы ловят и направляют в штаб. В комнату для артистов, что в народном доме, их нагнали столько, что повернуться негде.

Ударив прикладом винтовки по растущему на лужайке ковылю, Рийникс крикнул:

— Мы не допустим до этого, разве

не потому мы все и собрались сюда! Но что толку в том, что нас много, а оружия для всех нехватает!

— У троих нас старые берданки, у остальных — кто что успел захватить с собою, — грустно сказал Вистуцис.

— Ведь у тебя лично замечательная винтовка, — сказал Грикис, обращаясь к Рийниксу. — У остальных имеются ручные гранаты. А как мы их раздобыли? Партизан не ждет, пока ему поднесут оружие, он сам его добывает.

Постепенно командир воодушевился.

— Латышские народные песни называют героев своих вековыми дубами, — говорил он, — такими крепкими и сильными и мы с вами должны быть. Больше того: мы должны быть выкованы из железа и стали, иначе напрасно будем рисковать своими головами. Не язык сейчас должен работать, а наши пули и гранаты, и даже наши топоры, вилы и остро отточенные пики, если они могут помочь общему делу. Косою латышского крестьянина, и той можно нанести смертельный удар по немцу, это доказал нам своим примером товарищ Рейнвальд у мельницы Мелнупе.

— Я не имел в виду Рейнвальда, — ворчливо заметил льнотрепальщик, — а тех новеньких юнцов и старых калек, что там сидят.

Грикис на минуту задумался.

— Пока что мы совершили лишь одно нападение и то лишь на обоз из двенадцати возов с овсом и на двадцать пьяных немецких солдат. Настоящая борьба еще не началась, она предстоит еще нам, и мы ее не боимся. Мы организованная сила. И если еще не все вооружены, то во всяком случае сегодня ночью добудем недостающее нам вооружение. Оружие будет у нас, я вас твердо заверяю в этом! Кроме того, мы еще не в состоянии точно определить, в чем именно выразится помощь нам со стороны стариков. Про молодежь говорить не приходится, вопрос достаточно ясен. Например, наш Микус... Не он ли нам своевременно сумел сообщить о движении немецкого транспорта? А откуда у нас

полный мешок с копченой ветчиной? Это опять-таки работа Микуса, он добросовестно служит общему делу.

Удостоенный похвалы, Микус подтянул свои брюки и вылез вперед.

— Я их совсем не боюсь, проклятых грабителей!

И он торопливо рассказал, как удалось ему выследить немецкий обоз.

8.

Постепенно вся лужайка заполнилась партизанами, некоторым пришлось стоять на месте потухшего костра, а обоим старичкам даже тесно прижаться друг к другу.

Вдруг толпа раздвинулась. Лиепиньш и еще двое явились вместе с Янисом Норитис. Отец не выдержал и протиснулся вперед.

— Ты, Янис, сын мой! Ушел от этих убийц и разбойников! Теперь все хорошо! — Но, вспомнив жену и дочь, спохватился и поник головою.

Партизаны тесно окружили Яниса, лицо Грикиса стало суровым и нахмуренным. Рийниекс опять не удержался, чтобы не вмешаться в разговор:

— Вот он перед нами, великий айзсарг, которому немец не нанесет обиды. Не послали ли немцы тебя сюда со специальным заданием? Сколько же они обещают за голову каждого из нас?

Весь избитый, в разорванной одежде, Янис стоял неподвижно, словно у него прервалось дыхание.

— Я отвечаю только командиру!

— Понятно, замашки начальника, — издевался Рийниекс.

Грикис, повидимому, боролся с собою и с силою выдавил из себя явно нелепый по отношению к Янису вопрос:

— Ты сам пришел? Никто тебя сюда не посылал?

Отодвинув охранявших в сторону, Янис гордо выпрямился.

— На подобный вопрос я не отвечаю даже командиру! Неужели тебе действительно понадобилось задавать его мне?

Командир только пожал плечами.

— Не обижайся! Я не один, другие тебя еще не знают так хорошо, как я. Твое поведение до настоящего времени

дает достаточно оснований моим товарищам потребовать от тебя объяснений.

В знак согласия Янис наклонил голову.

— Я думаю, что мое поведение известно всей нашей волости. Но вы вправе требовать от меня отчета.

Выступил Рейнвальд. Он обратил внимание на то, что Янис, вероятно, с первых же дней был бы в рядах партизан, если бы не его отец — старый хозяин...

Его перебил Рийниекс:

— Нечего прятаться за спиной других! Кто хочет стать партизаном, тот должен сам полностью отвечать за себя и за свои поступки.

— Совершенно правильно, друг! — ответил Янис. — Я и не прячусь и отвечаю. Если речь идет о чьей-то вине, то лишь о моей собственной. Все вы знаете, что в путче союза усадьбохозяев-кулаков я участия не принимал. Из рядов айзсаргов вышел сейчас же, как только в честь Ульманиса стали воздвигать триумфальные арки и бросать фуражки вверх, следуя приказу. Как старому воину и бойцу, мне было стыдно кричать «ура» в честь узурпаторов. Признаться, советский строй не вдохновил и не воодушевил меня так, как Грикиса и вас, кто были коммунистами. Я и сейчас не могу утверждать и заверять вас в том, что я тот, кем я, возможно, никогда не смогу быть.

Лусис ударил рукою по его плечу.

— И еще как сможешь стать!

— Возможно. Но первым долгом я должен разобраться в своей собственной душе, в мыслях и поступках, чтобы потом твердо сказать: да, ты именно такой, и другим быть не можешь! Сейчас я у вас лишь потому, что это последнее, что еще осталось у латышского крестьянина: ненависть, беспредельный гнев против немецких грабителей и убийц... Речь идет о борьбе, решительной и последней, до окончательной победы.

— Кончай свою проповедь, нам некогда, мы должны идти в штаб! — крикнул ему Рийниекс.

— А где Илга? — как-то неуверенно спросил Грикис.

— Ее бросили в погреб, двое сторожат у дверей. Ее хотят увести...

— В народный дом в Гаршене, где уже полная комната молодых женщин! — вскрикнул Пуполс. — Илгу Норитис!

— Нашу Илгу! — повторил Уплейс. — Товарищи, разве мы допустим это?

— Нет, не позволим, помешаем! — вмешался и Рийниекс, забыв о своих прежних высказываниях и упреках.

Грикис потряс головой, словно отгоняя от себя тяжелые мысли.

— Ну, как, мои товарищи, принимаем мы Яниса Норитис в наш отряд?

— Без лишних слов! — откликнулся на вопрос Уплейс. — Я вполне ручаюсь за него.

— Я тоже! — присоединил свой голос Пуполс.

Рейнвальд — тот рукой махнул.

— Даже не требуется особых поручительств!

Грикис сердечно и дружески пожал руки Янису.

— Я более чем уверен, что уже сегодня ночью ты нам докажешь, что ты не среди последних.

— Я попытаюсь, — просто и спокойно ответил Янис. — Итак, мы идем в Гаршен? Можешь ли ты мне сказать, сколько в отряде партизан? Что касается немцев, у них сорок три солдата, я сам слышал, как они вели подсчет. Три поста вдоль опушки, два на перекрестках дорог, ведущих в бывшее имение, остальные — в усадьбе. Где находятся их посты, я примерно знаю, но это будут неточные сведения.

— Это пустяковое дело! — вмешался в разговор Микус. — Я берусь разузнать, где посты. Донесу вам о них в точности.

— И Микус мой здесь! — обрадовался Янис.

— Не только Микус, но и обе твои лошади здесь.

— Хорошо поступил, товарищ! Ты у меня всегда был на своем месте.

— Я их, чертей, совершенно не боюсь! — хвалился Микус. — К тому

же, они все вдрызг пьяны, разграбили кооперативный винный склад.

— Лейтенант остался в комнате и увлекся вином из отцовской бутылки, очевидно, уже храпит во-всю. Он уже давеча полз на четвереньках и стучался носом в пол.

— Нам бы в руки автоматы, да пулеметы и тогда штаб был бы в наших руках, — рассуждал Уплейс.

— Да что здесь много рассуждать! — воскликнул Пуполс. — В первую очередь направимся в Нориши.

Грикис взглянул на небо, освещенное заревом догоравших вдали домов. Еще раз оглядел своих боевых товарищей.

— Вокруг штаба еще светло от пожаров, раньше полуночи там делать нечего. До Норишей недалеко. Согласны по пути завернуть в Нориши? — обратился Грикис к партизанам.

Все были согласны. Они быстро обсудили положение, — до этого они уже не раз слышали и читали о том, как действуют партизаны при подобных нападениях. Чтобы выкурить убийц из потайных мест, где они упрятались, решено было поджечь стог на пригорке за ригую.

— Поджог надо поручить Микусу, — сказал Грикис, — он незаметнее и лучше других сумеет подобраться к стогу.

Один за другим входили партизаны в лес, последними на лужайке остались Янис и Грикис. Командир затоптал оставшиеся в костре угли.

— Не забудь про Илгу, командир, — тихо произнес Янис, — ты должен ее освободить первой.

— Как будто я сам о ней не думал все время, — отозвался Грикис. — Но лучше будет, если за это дело ты возьмешься сам. Мне неудобно, слишком похоже будет на роман, а их читать и раньше я не особенно-то любил.

— Хорошо, пусть будет так! — ответил Янис командиру. — Револьвер у этого немецкого бандита я отобрал, — у них оружие неплохое, надеюсь, что оно мне сослужит хорошую службу сегодня ночью. Желаю хорошего успеха в деле, товарищ!

— С полной и верной удачей!

И командир крепко пожал руку нового партизана. Затем они быстро удалились, спеша догнать свой отряд.

9.

Луна скрылась уже за вершиною леса; небо покрылось красноватым сиянием.

По ровной болотной топи быстро продвигалась цепочка партизан, шаги их заглушала густой и сырой мох болота. Тростинка напоминала собой серп, она круто загибалась, — впереди бодро и смело шагал Норитис, его друг и брат по несчастью Краст замыкал шествие, ведя за собой обеих лошадей Норитиса.

Перебравшись на другую сторону болота, где раскинулась поросль мелкого березняка, партизаны вновь сошлись вместе плотною толпою. Микус уже ждал их, он пришел туда раньше. Он не считал нужным разговаривать с партизанами, его донесение должен был первым услышать сам командир, а донесение было точным и ясным, включая даже мелкие подробности. Партизаны разбились на отдельные небольшие группы, усадьбу предстояло окружить со всех сторон. Небольшие подразделения в три-четыре и пять человек получили задания тихо, незаметно подобраться и снять немецкие сторожевые посты. Тем временем Микус будет уже возле стога соломы, вспышка огня от поджога и выстрел командира заставят немцев всполошиться, выскочить из домов, и тогда незаметно подобравшиеся народные мстители возьмут их на мушкету. На всякий случай, если бы первый план полностью не удался, партизаны получили еще дополнительные указания и разъяснения.

Когда небольшие подразделения партизан успешно расправлялись с постами, у всех построек усадьбы Норитиса — возле погребов, клетки и скотного двора — развернулись короткие, измеряемые секундами, схватки. Каждая группа точно знала свое место в бою, задания выполнялись было нетрудно, потому что фашистские герои после продолжительной пьянки словно одурели и не могли быстро притти в себя.

Основное жилое здание усадьбы, когда к нему подбежал Грикис вместе с четырьмя товарищами, казалось вымершим, пустым и темным. Караульного возле дверей уже не было. Они все же недоверчиво отнеслись к этому и на минуту остановились, чутко прислушиваясь.

В комнате не было темно, как это им показалось снаружи. Свет от горевшего стога соломы освещал помещение, словно то был свет большой лампы.

Лейтенант Ласвиц лежал на диване с широко раскрытым ртом, расстегнутым кителем, запустив руки в карманы и закинув ноги на круглый столик. Гулкий и резкий шум на дворе разбудил его.

— Хальт! — бурчал он, шаря рукой вокруг себя. — Шиммельпфениг... скотина! Дай еще выпить!

Глаза его закрывались. Но заснуть ему не дали. Внезапно двери с треском раскрылись, один из партизан схватил прислоненную к подоконнику винтовку солдата Финка, другой разрядил свой пистолет куда-то вниз. В комнату ворвался человек с боевою гранатою в руках, и не успел Ласвиц как следует привстать с дивана, как человек уже подбежал к нему, схватил за горло и опрокинул обратно на диван.

— Сюда! Обыскать! Связать! — подзывал Грикис своих товарищей.

Партизаны так стремительно бросились на офицера, что даже опрокинули столик. Рывком вытащили немца на середину комнаты, быстро обыскали его и связали ему руки за спиною. Офицер остолбенел с передуга.

— Ничего, ничего, сынок! — смеялись партизаны. — Только лапочки немножко прикрутили... Сейчас ты выглядишь тихоней, прямо-таки погладить хочется!..

Тем временем Грикис оглядел комнату. Бутыль валялась опрокинутой на столе, остатки вина вытекли на пол, образовав большую лужу. Рядом с кипюю газет и книг — туго набитый вещами чемодан. У открытых дверей комнаты Илги — завернутый в одеяло

узел с одеждой и бельем. Проколотая штыком картина со сломанной рамой, стекла разбитого окна и осколки вдребезги разбитых стаканов из-под вина, обломки и черепки глиняной посуды, брошенные в угол порожние бутылки...

— Так действует и распоряжается в чужом доме так называемая «высшая раса», — сказал Грикис, указывая своим товарищам на произведенный разгром, потом подошел и заглянул в комнату Илги. — Пустая кровать и комод, больше ничего там уже нет. — Вернувшись, он с безграничной ненавистью и отвращением взглянул на немецкого офицера. — Вор и грабитель с большой дороги! Обыщите его, как полагается! Не рассовал ли он чего-либо по карманам?

Партизаны вытащили пару женских чулок.

— Это определенно стащил у Илги. — Грикис схватил за плечо Ласвица и встряхнул его, тот все еще шатался на ногах и протирал свои глаза. — Стой прямо, болван!

Лейтенант все еще не мог опомниться: — Шиммельпфениг! — охал он. — Мессершмидт... Что здесь происходит?

Партизаны не могли удержаться от смеха.

— Ничего здесь не происходит, уважаемый Фриц, — все это ты видишь только во сне.

— Для тебя это и лучше, — добавил другой. — Как только проснешься, сразу почувствуешь себя весьма скверно.

Бой на дворе приходил к концу, лишь изредка знакомые голоса перекликались друг с другом. Стог соломы все еще ярко пылал, словно фажел.

Тем временем партизаны тщательно обыскали карманы немецкого офицера. Один из них вытащил какую-то вещь и не удержался, чтобы не рассмеяться.

— Командир, а вот и ты сам, своей персоной!

Улыбнулся и Грикис, пряча в карман свой портрет.

— Понятно, это ты приберег на тот случай, чтобы узнать меня, когда я попадусь в твои лапы! Тебе понадобилась моя голова? Ты собирался ее продать за тысячу марок, сын фашистского заморыша и сам заморыш! Лично я за

твою башку и одного сантима не дал бы!

Наконец лейтенант как будто очухался и понял, кто перед ним стоит. Мгновенно посерев, подобно пеплу, он стал вырываться из веревок, связывавших его руки.

— А-а-а... — рычал он, задыхаясь и выкатив глаза.

— Гри...кис! — вдруг простонал он.

— Совершенно верно, так меня зовут. Выходит, что твой же фюрер загнал тебя в петлю, тут уж тебе и сам бог Вотан ничем не поможет.

В комнату вошел Янис, вид у него был подавленный, мрачный. Грикис сейчас же повернулся к нему.

— Ну как, расставил посты Уплейс?

— Расставил везде, и мысль не проскочит.

— А Илга?

— На свободе. Жива и здорова. Сейчас перевязывает раненую руку Рийниксу. Кажется, ничего опасного. У них там, на дороге, когда снимали пост, преждевременно и неожиданно возникла перестрелка, Лусис...

Он так и не сообщил до конца то, что хотел сказать. Увидев немецкого офицера, Янис все забыл на свете.

— А, вот где ты, великий герой! Оказывается, бутылка вина, заготовленная моим отцом, куда сильнее фашистской дисциплины. Что тебя сейчас ожидает, ты сам прекрасно знаешь! У тебя настолько тонко выработана система допроса и методы пыток, что сам Торквемада мог бы тебе позавидовать. — Янис подошел совсем близко к нему. — Напоминаю тебе, например, такой способ: свернуть человеку голову так, чтобы нос его оказался на спине.

— Люди добрые! — жалобно завыл от страха Ласвиц. — Я только немецкий солдат, попавший в плен.

— Ты вовсе не солдат, а попавший в партизанскую западню бешеный волк. Все, что ты делал другим, все это полностью и целиком придется тебе самому испытать на своей собственной шкуре. Или, может быть, ты скажешь, что это будет несправедливо? Нет, молодчик! Сам старый бог во время оно не судил бы иначе... Грикис, куда его упрятать

на то время, пока мы соберем все их оружие и не обсудим наших дальнейших планов?

Грикис подумал.

— Что если в погреб-ледник?

— Пожалуй, подходяще. Двери крепкие, замок исправный, пусть охладит свой пыл.

— Согласен, хорошо, пусть освежится, — согласился Грикис, — но прощайте его еще раз основательно, я вижу, у вас еще нет достаточного опыта и знаний в подобном ремесле.

Двое партизан горячо взялись за дело и еще раз обыскали офицера. Один из них, ощупывая складки и шов кителя сзади, воскликнул:

— А, оказывается, у этой сволочи и здесь карман, да при том потайной, — с этими словами он вытащил из кармана Ласвица небольшой кожаный бумажник. — Видно, в нем хранится нечто важное и ценное, иначе он не запрятал бы его в таком скрытом месте.

— Заприте его и стерегите зорко! — пригрозил Грикис. — Отвечаете за него своей головой! Вы меня хорошо знаете!

— Будь спокоен, командир! — отозвался один из партизан.

Не успела еще за ними закрыться дверь, как вошла Илга, за нею, с висевшей на пояске рукою, Рийникс, а за ними показался и Лиепиньш, пасмурный и словно упавший духом.

— Спасибо, товарищ, ты пришел вовремя, — поблагодарила она Грикиса.

— Я не заслужил никакой благодарности, это Янис взял на себя заботу о тебе. Надеюсь, ничего серьезного и опасного? — спросил он, повернувшись в сторону Рийникса. — А где винтовка? Утерял, что ли?

— Винтовку я не потерял, просто передал ее Микису, пусть носит, одной рукою стрелять нельзя. Но гранату бросить я сумею и правой рукой. За тридцать шагов не промахнусь, попаду и в пуговицу от жилетки!

— Я знаю тебя, друг. А где Лусис?

— Лусис, — нерешительно произнес Рийникс и, запнувшись, переглянулся с Лиепиньш. Тот выступил вперед, повесив голову и с трудом волоча ноги.

— Моя вина, товарищ командир, исключительно только моя...

Грикис вздрогнул и забеспокоился.

— Какая вина? Неужели Лусис...

— Все моя проклятая чухотка! — проклинал себя Лиепиньш дрожащим от волнения голосом. — И этот проклятый кашель, который всегда меня треплет не во время, когда этого вовсе не требуется и когда я устаю и задыхаюсь...

— Я досгадываюсь... — тихо произнес Грикис. — По этой причине у вас там преждевременно и, очевидно, до сигнала открылась стрельба.

Несколько минут он стоял с поникшей головой.

— Только моя вина, — повторял Лиепиньш, — поступай со мной по своему усмотрению.

Командир лишь покачал головой.

— Не говори зря, никакой вины твоей я здесь не вижу! Несчастный случай, судьба, называй, как хочешь. Такова вся наша борьба: сегодня Лусис, завтра, возможно, ты сам, а потом я. Партизанам не приходится гадать, мы знаем твердо, кто мы и на что мы идем и за что боремся...

И командир тяжело опустился в кресло, вертя в руках бумажник Ласвица.

— Странные дела, — сказал он спустя некоторое время, — вещь из тонкой, прекрасной кожи, надписи на ней золотыми буквами: «Анатолий Ромэн. Брюссель». Но ведь этот шут гороховый вовсе не Анатолий Ромэн, тем более он не уроженец Брюсселя.

— Понятная картина, — сказал Янис, — этот герой, будучи в Бельгии, просто украл вещь в Брюсселе у некоего Анатолия Ромэна.

— Ты прав. Один только его вместительные карманы являютя его неоспоримой собственностью, все же, что в них, все ворованное. Все, что ему ни попало по пути, он прятал в карманы, как жадная акула свою добычу в желудке.

Он разорвал порнографические снимки, найденные им в бумажнике, бросил их и вытер руки. Вошел Уплеис и доложил, что все в порядке: посты везде расставлены, Пуполс заканчивает подсчет трофеев. Грикис кивнул головой.

Вдруг на дворе раздались отчаянные крики и вопли. Все находящиеся в комнате вскочили, партизаны схватились за оружие, Илга подбежала к окну. Первым опомнился и пришел в себя Янис.

— Так орать и вопить умеет только предатель, наш балтиец Каситис.

В широко распахнувшихся дверях показались трое. Через порог неуклюже ввалился Каситис, подталкиваемый сзади за шиворот Микусом и старым Норитис. Каситис жалобно скулил и умолял:

— Соседи, милые вы мои!.. Родненькие мои!.. Пиджака не разорвите только...

У Микуса через плечи перекинута две винтовки, приклады их тащились по земле. Он крепко и сильно встряхнул пленника, прикрикнув на него солидным басом:

— Прямо, навьютяжку стоять перед командиром, крючок ты эдакий!

Илга сплюнула перед самым носом предателя.

— От такой падали вся комната сразу провоняла.

— Не подводите его так близко ко мне! — прикрикнул Грикис на Микуса и Норитиса. — Одно его дыхание вызывает чувство омерзения. Даже ругать его не имеет смысла, самое худшее ругательство — чересчур хорошо для этого вырэдка. Сколько проданных и преданных людей уже лежат на твоей черной совести? Сколько серебрянников ты уже заработал за это время?

Дрожа всем телом, Каситис плакался:

— Три дня они таскали меня с собою... Угрожали мне расстрелом... Кверху ногами подвесить к потолку...

— Где этот тип прятался? — спросил Грикис.

— Залез под пол в клетки, — рассказывал старик Норитис. — С большим трудом его оттуда вытащили.

— Они меня толкали и колотили... У нового пиджака, небось, воротник оторвали, — жаловался Каситис.

— Его следовало у тебя оторвать вместе с головою. Ну, скажи по совести, что сказала бы теперь родная твоя мать, думавшая, что она родила человека?.. Ты не только предатель и прислужник

палачей, ты опозорил своим поведением весь латышский народ.

— Стоит ли попусту терять так много слов! — крикнул Рийниекс.

В эту минуту никто бы не сказал, что здесь, вокруг своего командира стоят простые крестьяне, пахари, сеятели, батраки. Все они стояли с сжатыми кулаками, сверкающими от гнева глазами и, обратившись в сторону своего командира, ждали от него единственного и правильного решения.

Грикис хорошо знал, чего они ждут. Голос его звучал твердо, как стальной молот, поднятый и опущенный на ярко раскаленный лемех.

— Суд партизан короток и справедлив. Увести его на опушку леса! — И он резко подал рукою знак стоявшим возле внутренней двери четверем партизанам. — Ты, Лиепиньш, будь за старшего, действуй!

Дрожа всеми членами, как лист на ветру, Каситис обезумевшими глазами глядел по очереди то на одного, то на другого партизана.

— Товарищ... Я все, что знаю, вам... Все и всем...

— Расскажешь там, на небесах, — отозвался Лиепиньш, — или тому, кто под землею, он больше сродни тебе.

Долгое еще время на дворе слышны были отчаянные, воюющие вопли Каситиса. Партизаны только морщились и избагали смотреть друг другу в глаза.

Взглянув на часы, Грикис крикнул вслед уходившему Норитису:

— Пусть поторопится Пуполс, в нашем распоряжении только полчаса!

Сам он принялся за разгрузку чемодана Ласвица. В нем оказались: несколько ложек, карманные часы, двое ножиц, клубок шерстяных ниток и другие подобные же предметы и вещи. Завоеватель мира оказался весьма старательным собирателем тряпок. Партизаны, стоявшие вокруг чемодана, только поводили плечами от удивления. Взяв со стола лежавшую там внушительных размеров записную тетрадь, Грикис прочел сделанную очень старательно, закругленным почерком, и разрисованную всякими хвостиками и узорами надпись:

«Tagebuch eines deutschen Leitenants in Balticum, anno 1941, von Heinrich Laswitz»*.

— Негодяй! Очевидно, он воображал себя фашистским литератором и описывал здесь свои геройские подвиги. Пожалуй, для больших, центральных, русских газет здесь и найдется подходящий материал, но сумеем ли мы сами его использовать?

Нашлась в дневнике и отдельная страница с пометкой: «Совершенно секретно». Взглянув на нее, Грикис покачал головой:

— Какое-то хитросплетение, смесь, ни чорта в ней не разберу.

Пока он изучал страницу, через его плечо заглядывал в дневник и Уплейс.

— Это шифрованная запись, какой-нибудь приказ или распоряжение, без ключа шифра не прочтешь. Но сохрани-те дневник, возможно, встретим знатока и специалиста по этому вопросу.

В комнату вошел Пуполс. За ним в открьбтых дверях виднелась фигура какого-то неизвестного молодого человека, одетого в длинное пальто, вместе с ним пришли четверо незнакомых и вооруженных партизан. Пуполс поспешил доложить:

— Все в порядке, командир, мы можем двинуться в путь.

— Все ли сволочи попали в наши руки?

— До последнего. Сорок три фашиста лежат там же, где раньше стояли, лейтенант в погребе, а Каситис... трудно даже сказать, где витает сейчас душа этого Иуды-предателя. У лейтенанта нашли прекрасную лошадь, очевидно, украл ее в какой-нибудь усадьбе в Земгале, проклятый немец еще не успел ее заездить.

— Как с оружием?

— В порядке. Тридцать восемь винтовок и пять автоматов, четырнадцать револьверов и два пулемета. Вистудиса никак не оттащишь от всего этого богатства. Гранат, патронов, пулеметных лент — гора! Сомневаюсь даже, сумеем ли мы все это захватить с собой.

— А для чего у нас имеются три лошади? — весело отозвался Грикис, радуясь богатой и ценной добычей. — В узлы, мешки связать попарно ремнями, перекинуть через спину лошадей, постепенно они нам все и перевезут. Ты как будто говорил о двух пулеметах? Откуда второй?

— Мы раздобыли действительно только один пулемет, но вот эти товарищи притащили еще и второй.

Незнакомцы сделали два шага вперед. Человек в пальто приветствовал всех по-военному, потом отвел Грикиса в сторону, очевидно, желая получить сведения о присутствующих. Одного из трех неизвестных Грикис уже знал, то был старый знакомый, с которым он раньше встречался на конференциях и заседаниях в Риге. То был Зиле, командир партизанского отряда в Малиена.

Он сообщил:

— Как только мы узнали о том, что здесь организовались и действуют партизанские отряды и что во главе их, по слухам, стоит некий Грикис, я сразу подумал, что это вы.

— Тогда все в порядке! — обрадовался неизвестный человек. — К чему, в таком случае, разводить китайские церемонии?

Часть партизан Грикиса уже собралась в комнате. Теперь все они имели оружие, все горели явным нетерпением скорее добраться до народного дома в Гаршене, до основного логова бандитов.

— Как быстро летит молва! — удивлялся Грикис. — Всего ведь только два дня мы орудуем здесь, в нашем районе.

Слово взял человек в пальто, по всему виду, опытный оратор.

— Когда-то, в старину, во времена военных походов, наши предки сносились друг с другом, пользуясь сигналами трубачей и разведанными на горах кострами. Вы обладаете сейчас другим молниеносным и верным средством связи. Признаться, я лично затрудняюсь дать ему точное название, но то, что оно существует и действует прекрасно, в этом я в течение одной недели убедился уже не раз. Только вы создали здесь партизанский отряд, а весть об этом облетела товарищей по борьбе, на-

* Дневник немецкого лейтенанта в Прибалтике, 1941 год, Генрих Ласвиц.

ходящихся в других районах. Эта радостная весть пришла и к нам, на фронт... Вы, очевидно, уже догадываетесь, что я из Красной Армии. В Польше, Белоруссии и Литве, всюду кипит партизанская жизнь. Темные леса грозно подстерегают фашистов. На обширной равнине Украины каждая балка и овраг превратились в волчьи ямы. Мне кажется, что и во сне нет им покоя и даже в бреду им мерещится занесенная над ними рука народного мстителя с ручной гранатой...

Микус поднял сжатую в кулак руку:

— Наверняка — она им мерещится! Тот, к которому я подобрался тайком, тоже бредил и во сне противно ворчал. Я...

Он внезапно оборвал свою речь, получив толчок в бок от стоявшего рядом партизана.

Слово взял Грикис:

— Можешь, товарищ, быть уверенным: в своем районе мы ни одной ночи не дадим им не только спать, но и бредить во сне.

— Я знаю об этом, — отозвался представитель Красной Армии. — Руководимые товарищем Юрисом партизаны успели уже потопить в Даугаве немецкие лодки с боеприпасами, это произошло в районах Крустпилс и Даугавпилс. Индрикис со своими партизанами в районе Плявинас сжег дотла лагерь гитлеровских бандитов, ни один из них не ушел живым, все были уничтожены. Отряд Арвидса то-и-дело пускает под откос поезда с немецкими боеприпасами, продовольствием и награбленными вещами...

— Про этих товарищей-героев мы кое-что уже слышали, — сказал Грикис, — но только без подробностей и не все полностью, ведь до нас далеко, живем мы на окраине.

— Никакое расстояние не может вас разделить в родной вашей стране, так же, как оно не разделяет части Красной Армии, действующей на огромнейшем и широком фронте — от Ледовитого океана и до Черного моря. Поддерживайте самую тесную связь с нами или другой ближайшей частью Красной Армии, для этой цели я и прибыл сюда. Вы окаже-

те нам неоценимую услугу, сообщая обо всем, что делается в тылу противника, в свою очередь мы всячески поддержим вас советом и дельными указаниями, а также снабдим вас оружием, словом, окажем вам самую действенную помощь. Доставляйте нам пленных, то есть добывайте «языка», сдавайте нам все ценные документы, попавшие в ваши руки...

— Один немецкий лейтенант сидит как-раз сейчас у нас в погребе, — поспешил сообщить Янис. — В сумке у него мы нашли один документ, а разобрать его не можем.

Фронтовик взглянул на документ.

— Это шифр какого-то распоряжения или приказа, возможно, с важными и ценными для нас сведениями. Если согласны, я могу документ взять с собой, у нас расшифруют его. А сейчас куда вы направляетесь? В штаб? — спросил он Грикиса.

— Да, в народный дом в Гаршене. Но откуда вы знаете об этом?

Фронтовик улыбку.

— Все леса, где только имеются партизаны, говорят об этом. Направляясь к вам, мы уже знали о том, что коричневые волки-оборотни собираются сегодня ночью окружить вас и выставили караулы по всем дорогам. Нам рассказали и о фашистском патруле в каком-то овраге.

— В овраге у мельницы возле Мелнупе.

— Очевидно, там. Так как это место почти-что по дороге, мы сделали небольшой крюк. И стоило так поступить! Мы там уложили восемь офицеров, взяли пулемет и четыре пистолета-автомата. Я думаю, что мы поможем вам выкурить фашистов из их штаба, тем более, что сегодня ночью они совершенно не ожидают вашего нападения. Готовы ли твои люди, командир?

Грикис выпрямился и окинул бодрым взглядом свой отряд. Партизаны крепко держали оружие в руках, лица их были полны решимости.

— Мы всегда готовы, — произнес Грикис, — скажи об этом своим товарищам на фронте. Передай им также: мы

как один, поднялись на борьбу и не сложили своего оружия. Мы вышли на такую дорогу, по которой путь ведет только вперед, отступления не может быть. Итак, товарищи, вперед, на борьбу! За наших убитых матерей и опозоренных девушек! За наши разграбленные дома и за всю нашу затоптанную в грязь родную землю. За свободу латышского народа! За свободу, честь и независимость всего Советского Союза!

— За Латвию! — воскликнул, придя в себя, Янис, но тут же Уплейс присоединил свой возглас:

— За нашу Советскую Латвию!

И все, как один, подняли вверх грозно сжатые кулаки и повторили клятву: «За Советскую Латвию!..»

Попарно, твердым шагом, покидали они комнату через широко раскрытые двери навстречу пылающей в красном зареве ночи.

— Отнесем голодному фашистскому заморышу то, чего он ищет в нашей стране! — предложил Пуполс и подбросил винтовку вверх.

— Шпек!

Уплейс погрозил своим револьвером:

— Буттер!

А Микус взмахнул гранатой над головой:

— Эйер!

Перевел с латышского

АЛЕКСАНДР УССИТ

Дунганские сады

ВЛАДИМИР КОЗИН

Рассказ

★

В высоких долинах началась весна, и снежные горы сияли под весенним солнцем ровным чистым светом; летом они не были такими яркими.

В середине июня, на рассвете, поэт Касым Магуи выехал из города и увидел свою страну под низким ранним солнцем; она лежала перед ним, и далеко вперед уводила ее большая дорога. Направо стояли горы Алатоо; они были в снегу и казались призрачными от подножья до вершин; слева бесконечно зеленели колхозы киргизской богатой равнины, и тополя стояли над нею, а за ними были простые зеленые горы.

По дороге, навстречу Магуи, шла яркая жизнь. Дорога показывала страну. Шли цистерны и вьючные верблюды, на грузовиках везли черепицу и хлеб, ехали старики-велосипедисты и неутомимые девушки верхом на послушных конях, и солнечный снежный Алатоо все так же двигался справа, отчетливый сквозь придорожные камыши.

Дорогу чистили: паровые катки гладили ее — черную, светлую, широкую, ее подметали проворные подметальщики, веселые косари косили высокую пыльную траву по бокам дороги, и Магуи позавидовал и девушке-киргизке, проехавшей мимо с неподвижным милым лицом, и бессловесной песне дорожных косарей, и полуголому молодому киргизу на паровом катке с горячим, спокойным и сильным, счастливым телом:

Он хотел быть великим поэтом, от простых слов которого никто не может отказаться, и простым настойчивым человеком. Полуденное солнце стояло над дорогой; далеко во все стороны простиралась, зеленела и дышала страна, и Магуи хотел все делать в жизни большими, мягкими, умелыми руками; до самого конца просторной дороги он смотрел на руки встречающих людей и по этим рукам — мужским и женским, — затвердевшим и ставшим строгими в труде, понял всем сердцем, что страна, через которую он ехал и долго еще будет ехать, может сделать все.

Ему захотелось, чтобы открытая солнцу, с полуденным ветром дорога была бесконечной, чтобы так, несясь по сверкающей дороге, можно было ясно чувствовать и время, и простор своей родины, и не слабели бы никогда высокие желания.

Дорога повернула к снежным вершинам Алатоо, и открылось обширное пространство возделанной земли и чистого неба. Слеза возникли голые измятые горы земляного цвета, на них — дымки невидимых селений и теплые стада овец. Близилось Боомское ущелье.

Магуи смотрел на бесплодные горы под синим небом, и ему казалось, что он чувствует запах жидкого дыма в утреннем влажном воздухе — запах овечьих отар и своей молодости.

Каждый день и каждый час город приносил ему новости; он жил среди событий, и утром, просыпаясь, ждал

новых событий и свежих новостей. Магуи работал в комитете наук, это было его государственное дело; он был смелым оратором, состоял членом коммунистической партии, — его касались дела всего мира. Жизни было слишком много, если даже забыть о вечном желании лучшего, которое не оставляло Магуи. Вспоминать о молодости было некогда.

Магуи смотрел на голые горы кизячного цвета и думал о том, что молодости у него не было: подпасок в овчине, безмолвный от вечного страха перед жизнью, равнодушный ко всему от недоедания и бессильный создать для людей хотя бы одну песню, — как из этого одинокого подпасака мог вырасти Касым Магуи — любимый слуга и уважаемый поэт своего счастливого народа?

«У меня не было человеческой молодости, — подумал Магуи, — и я совсем молодой: мне двадцать пять лет, не больше».

От Рыбачьего городка Магуи пошел пешком по берегу озера: он не хотел ждать автобуса, а вещей у него с собою не было.

«Буду итти по своей стране, как средневековый подмастерье, — думал он, — все увижу; буду смотреть на горы и людей так долго, как захочу. Поэт должен много ходить и видеть, чтобы слово его не было спокойным и жирным».

Ранней ночью Магуи заснул на теплом кочковатом лугу.

К утру луг остыл; от невидимого озера пришел прохладный, спрогий ветер и потревожил ночь; она посветлела далеко, у снежных вершин на южной стороне озера, и когда Магуи проснулся, начиналось утро.

Горное озеро за близкими камышами и редкими дерезцами лежало, не двигаясь, голубое и прекрасное в слабом утреннем свете; не верилось, что это озеро. За ним стояли снеговые хребты Тянь-Шаня — Небесных гор. Утро росло, и снежные вершины становились выше; они заняли все небо за огромным озером и стали розоветь; и когда высочайшие хребты густо порозовели,

озеро медленно начало синеть; были отчетливо видны травянистые кочки на лугу, высокие и прозрачные кусты чия, дальние юрты и глинобитные гробницы вдоль тихой дороги. Зеленые горы и снежные хребты северной стороны озера вдруг сделались заметными, розовыми, потом лиловыми и синими. Наконец, горы стали зелеными, вершины — белыми, и показалось солнце.

Озеро было спокойным и синим.

— Утренний привет тебе, родина! — сказал Магуи и почувствовал, что ему, действительно, двадцать пять лет — и он счастлив, что родился в своей стране поэтом: как ни трудно быть одаренным, но лучше прожить две жизни, чем одну.

Магуи пошел по дороге вдоль озера, к дальним тополям приозерного колхоза; навстречу ему, из-под тополей шло стадо.

Поселок был расположен по сторонам дороги; по ней взад и вперед ездил верхом на коне бригадир; во дворах, на кошмах, покрытых росой, просыпались дети. Гостеприимный киргиз пригласил Магуи во двор выпить натошак прохладного айрана.

— Куда идешь? — спросил колхозник.

— В свой колхоз, — ответил Магуи и поблагодарил за айран.

— Колхоз какого народа?

— Пяти народов.

— Добрый тебе путь! — сказал колхозник и поспешил на зов бригадира.

Магуи пошел дальше. Солнце подымалось к полдню, дорога становилась горячее, и вся страна, с горами и горным озером — солнечной, видимой далеко. Озеро нельзя было забыть; и, когда большая дорога отклонялась в сторону, близилась к неспокойным, высоко раскинутым горам, Магуи все так же чувствовал синий его простор.

«Века создали это озеро с таксю силой, что оно осталось прекрасным навсегда! — подумал Магуи. — Какой же силой должен обладать поэт, чтобы память о нем жила вечно?»

На дороге стояла грузовая машина, возле нее, в пыли, над тяжелыми баллонами и яркими красными камерами

старались люди. Магуи остановился, негромко сказал:

— Привет, товарищи!

Ему ответил только седой, растрепанный старик.

— Вот, братец, — сказал он растерянно и с полной доверчивостью, — какая беда: никак до Каракола не доеду! Борода у меня в дороге выросла, сука оценилась. Конца пути не видно.

У переднего колеса машины, в узкой тени лежала рыжая, ласковая, с несчастными глазами собака; возле нее беспокойно ползали по дорожной пыли пять круглых щенят; щенята ворчали; мать беспомощно лежала перед ними и с безнадёжной доверчивостью смотрела снизу вверх на старика.

Шофер заклеил камеру, вложил в пустой баллон манжету от старой покрывки и прошептал, вытирая с лица пот и пыль:

— Последняя, больше ни клея нет, ни манжет!

— Что же ты со мною делаешь, Василий Антонович? — покорно сказал старик.

— Молитесь богу, папаша, чтобы не остаться нам на дороге совсем разутыми! — отозвался шофер и достал из-под сидения насос.

— Давайте, я помогу вам, — несмело проговорил Магуи.

— Хочешь ехать с нами? — спросил шофер.

— Я иду пешком.

— Молодец! — с уважением сказал старик.

Магуи долго накачивал насосом воздух в камеру. Вначале было приятно: движения его были спокойны и рассчитливы, — так надо работать всегда — размеренно, с удовольствием; потом стало вдруг очень жарко, пот закапал со всего лица на горячую пыль дороги. Магуи снял пиджак и продолжал работать неторопливо и ладно. Теплое озеро лежало за ним, перед ним подымались горы — одна над другой; из-за самой высокой выглядывали ледники; по горам тянулись черные издали, отчетливые на небе тьяншанские ели; бы-

ло яркое полуденное спокойствие во круг, и начало старинных плавных песен зародилось в сердце Магуи.

— Хорошо качаешь, товарищ! — сказал шофер. — Ты не из механиков?

— Нет.

— Все-таки поезжай с нами, подвезем.

Машина шла вдоль озера пять часов, не останавливаясь.

В город Пржевальск Магуи вошел пешком.

Высокая аллея тополей тянулась четыре километра, до базара. Тень огромных деревьев лежала на белой дороге, на обветренных дувалах с одной ее стороны, на домиках, огородах и садах; вдоль дороги, под тополями текла в арыках горная вода; просторная тень и чистая вода были прекрасны, и усталый Магуи тихим голосом запел старинную дунганскую песню о любви и скитаниях.

Он долго стоял у дунганской мечети; она вся была из дерева, без единого гвоздя, строгая, небольшая, яркая; кровля — с загнутыми вверх углами, как пагода. Бывшую мечеть превратили в музей, но дверь была заперта, в старом саду стояла ясная тишина, Магуи вдруг почувствовал одиночество и быстро пошел к базару.

Дунганский колхоз находился недалеко от города, но Магуи не хотел притти к своим землякам усталым и пыльным. Он снял койку в Доме дехканина, у базара, вымылся, почистился и пошел в городской парк ужинать.

Вечерело, и город был тих; вдоль широких станичных улиц стояли в вечернем воздухе рослые белые тополя; из-за глинобитных дувалов тянулись ветви с красными яблоками; над городом — горы и ледники; город был низкий, старинный, одинаковые одноэтажные дома с зелеными ставнями и просторные сады. Магуи захотелось, чтобы в этом обширном городке, похожем на сад, жило много умелых, влюбленных в свою жизнь людей, которые покрыли бы улицы асфальтом, построили бы светлые, благородные

здания и стали достойными своего плодородного города.

Городской парк был небольшой; величественные тени и неожиданные деревья, изваянные временем, как статуи.

Магуи пошел по главной аллее, завидя тем, кто может и ранним утром, и в полдень, и на закате жить, смеяться, мечтать и любить в этом странном парке с плакучими ласковыми елями и толстыми, веселыми плакучими березами.

На толстом стволе березы висел красный щит, и Магуи остановился.

На щите было написано белыми буквами:

«Учащиеся нашей школы, овладейте наукой!»

«Так, — подумал Магуи, смеясь, — скоро наступит новый учебный год», — и спросил старичка-прохожего, не знает ли он, кто так откровенно портит природу и людей.

— Директор парка живет вон там, в киоске, спросите у него, — ответил старичок с удивленными голубыми глазами.

Голубой киоск стоял под старой седой елью на перекрестке аллей; окно было завешено белой занавеской; в круглой крыше торчала самоварная труба, из трубы к еловым ветвям подымался дым.

Магуи постучал в приоткрытую дверь, из нее вышел молодой расстегнутый человек с блуждающим взглядом.

— Вы — директор парка? — спросил его Магуи.

— Я.

— Это вы писали лозунги, развешенные в парке?

— Я.

Магуи повел директора к надписи на плакучей березе. Директор смутился, сказал, что он писал эти надписи поздно вечером, в темноте, и поблагодарил Магуи за внимание.

— Не благодарите меня! — спокойно сказал Магуи. — Я буду хлопотать, чтобы не вы были директором этого парка.

Магуи поужинал в ресторане под елями, и, когда вышел на улицу, были уже поздние сумерки, и в сумерках бе-

лели стволы берез. Из-за снежной горы выползла большая горячая луна и остановилась; потом поднялась выше и начала бледнеть; под луною на вершинах лежал розовый снег, на горах плотно стояли тьяншанские ели, красные на закате, между елями и луной лежало облако, похожее на птичье крыло; луна, чуть поднявшись, стала незаметно и прямо плыть на юг, прозрачное облако приблизилось к снежной вершине и само приняло вид снеговой горы.

В городе была тишина, а тополя беспокойны. Издали шла гроза.

Магуи заснул под дождь.

Утро было чистое, и воздух, и горы, и тополя; они проводили Магуи по широким улицам до конца города, где зеленели лужайки, бесконечны были сады и утренняя солнечная тишина; во весь рост открылись горы, и стало так хорошо, что Магуи вполголоса запел. Дорога лежала перед ним родная, поля разметались до подножья гор, и была уже видна синяя зелень дунганского колхоза.

Магуи вошел в улицу знакомого поселка.

Вдоль улицы до самого голубого неба стояли белые прохладные тополя, длинная улица кончалась зеленой горой с темными елями; за горой простирался сияющий ледник; на сердце Магуи стало радостно, беспокойно; он пошел быстрее. Его обогнал мальчик с узким лицом и раскосыми глазами, остановился, посмотрел очень внимательно и исчез в расщелине глинобитной стены.

Через несколько минут Магуи обогнала три мальчика и одна тоненькая важная девочка и удивленно оглядели его. Магуи улыбнулся им; один мальчик восторженно вскрикнул, и дети исчезли. Скоро Магуи обогнала толпа мальчиков и девочек; они криостановились, почтиительно и задорно крикнули:

— Касым Магуи! — и разбежались во все стороны.

Когда Магуи завернул за угол, навстречу ему — от длинного белого дома, в котором помещалось правление колхоза, шли люди.

Магуи взволнованно жал темные, крепкие руки; люди счастливо улыбались; подходили новые знакомые лица; два колхозника прискакали верхом на ослах; пришли председатель колхоза, учитель Рамазан, — все, кто был в этот час не на полях и пастбищах; спрашивали:

— Почему так поздно? Ждали все лето. И не прислал телеграммы, встретили бы на машине! Неужели посетил нас на одну только неделю? Какие новости? Какими новыми стихами порадует Касым Магуи сердце своего народа?

Молодой колхозный поэт Ду-Фу увел Магуи к себе кушать и отдыхать.

Ду-Фу жил со старою матерью и сестрой. Перед воротами, вдоль улицы стояли подстриженные деревья, кроны их были, как зеленые купола; ворота — деревянные, резные, глубокие; широкий двор, цветник, огород и сад за обвалившимся дувалом; домик глинобитный, низкий, перед домом — цветущие кусты; на одной половине дома жили мать с дочерью, на другой — Ду-Фу. Он вел Магуи за руку, гордо и преданно улыбаясь. Навстречу им выбежала Салима, неслышно вскрикнула и стыдливо остановилась.

— Маленькая Семе, — сказал Магуи, — какая вы стали большая!

У Салимы было удлинненное лицо, строгие продолговатые глаза, лукавая нежность во взгляде и в каждом тихом движении; девочка торопилась стать девушкой и была более сдержана в каждом слове и взгляде, чем взрослая девушка. Она стояла перед Магуи, опустив глаза и руки, а губы ее шевелились, чуть улыбались, словно они знают все, но ничего не могут сказать. Утреннее солнце освещало двор, Салиму и цветы на высоких стеблях у домашнего порога; посреди двора яркий петух боком смотрел на белого голубя, пролетающего над ним.

Магуи вошел в комнату, чуть задумчивый и счастливый.

Половину небольшой комнаты занимала глинобитная лежанка, называемая «кан»; она была покрыта кошмой; сбоку ее высилась стопка мягких цвет-

ных одеял и длинных подушек; в комнате стояли швейная машина и узкий стол; на столе, покрытом белой скатертью, — книги, фотографии, цветы, яблоки, бумажные цветные веера, расставленные строго и уютно.

— Столик, конечно, украшала художница Салима! — сказал Магуи, оборачиваясь; девочка посмотрела на него долгим благодарным взглядом, тонкие брови ее слегка дрогнули, она исчезла за дверью.

— Прости, что комната не обставлена, — сказал Ду-Фу, сбрасывая на лежанку мутки и приглашая Магуи прилечь, — я не живу в ней, неделю тому назад женился и переехал на другой конец села. Ты знаешь, кто моя жена. Мы ждали тебя и откладывали свадьбу, но, наконец, у меня не стало сил ждать. Пойми и прости.

— Поздравляю от всего сердца, — весело сказал Магуи, — но простить не могу, завидую.

— Мне?

— Всем, кто был на твоей свадьбе и видел твое счастье.

Магуи перебрал книги на столе: Маркс, Ленин, Сталин, учебники и сельскохозяйственные брошюры. Ду-Фу сказал:

— Я много читал и писал этой зимой и стал другим человеком; и стихи мои стали другими, ты не узнаешь их, и я боюсь, тебе покажется обидной их грубая, неумелая форма: мне кажется, чем больше я думаю и сильнее мечтаю, тем хуже пишу.

— Прочти.

— Если можно, я прочитаю тебе ночью, когда мы будем ложиться спать: так мне спокойнее. У меня есть новые стихи о Сталине, я писал их, не помня себя; мне было очень трудно и радостно, но я не верил себе и начинал снова и снова.

— Я тоже! — сказал Магуи. — Ночью я тебе прочитаю.

— Разве я могу равняться с тобой, Магуи? — сказал Ду-Фу. — В каждой твоей строке — тонкость и сила всей жизни, ты сам — поющее сердце, мы вырастаем, слушая тебя, и куда-то

летим, и все открыто, и все впереди нас, а я прост и неповоротлив.

— Пусть ночь нас рассудит, — сказал Магуи, смеясь и волнуясь, — если ты победишь меня, Ду-Фу, я честно признаюсь в этом.

— Тебя победить нельзя, — спокойно проговорил Ду-Фу, — но, может быть, когда-нибудь я с тобою сравняюсь.

Вошла Салима; она поставила на лжанку низенький столик и прошептала, что мама больна и просит знаменитого гостя, осчастливившего ее бедный дом, простить ее.

— Какие скромные миллионеры! — сказал Магуи, когда Салима вышла. — Ваш колхоз — один из самых богатых в нашем краю, но каждый колхозник все еще считает, что еще не все достигнуто, и не все еще возможности даны ему в руки. Почему? Когда все богатеют, тогда каждому из всех это не так заметно?

— Мама всю жизнь была нищей и несчастной, — сказал Ду-Фу, — такой и родилась, никогда не была сытой и свободной, никогда не видела счастья и ласки, как брошенный на дорогу цветок. Теперь она не верит самой себе, ей кажется, она все такая же бедная в жизни, а рядом с ней выросла новая, счастливая старуха.

Салима принесла на подносе большие и маленькие пиалы, темные палочки из бамбука, чайник и поставила все это на стол; в маленькие пиалы налила крепкий черный чай; в двух больших пиалах был цун-цей — поджарок и очень много луку с перцем: кушанье острое, пряное.

На закате гуляли по главной сельской улице, вместе с Рамазаном и Фербу.

Учитель Рамазан — человек спокойный и застенчивый, любитель старинной дунганской музыки, сторонник сурового воспитания детей; об этом он говорил уверенно, словно боясь ненужных слов:

— Я готовлю не мирных обывателей: много было среди них хороших, простых людей, но век их кончился. Чтобы создать новую жизнь на всей земле, человек не должен бояться никакой жиз-

ни, человека ждет долгий, трудный подвиг. Подвиг требует веры, страсти, силы, терпения, ловкости, выносливости. Я готовлю победителей. Каждый мой мальчик должен стать мужем чести и доблести, каждая девочка — великой женщиной в самом малом деле.

Сельский учитель Рамазан более всего любил сидеть за садами, на закате, на огромных камнях у реки и, не слыша ничего, петь всем телом, чуть покачиваясь, свои легкие, прозрачные, несвязные, сердечные песни, в которых все соединено внутри единым неясным чувством с такой силой и болью, как у старых дунганских поэтов. Рамазан говорил, что не хочет он быть сыном прошлого века и повторять неповторимые песни, давно спетые славными покойниками, он — певец нового простора, открытого революцией, певец великого дела, и его песни должны звучать на весь мир, а если песни не могут, если Рамазан силен в желаниях, но слаб вдохновением, пусть его негромкие, но отчетливые стихи поют его мальчики и девочки и учатся быть искуснее своего честного учителя.

Магуи очень уважал Рамазана: Рамазан всю свою мысль, сердце и одаренность отдал своему делу; мысль его всегда была ясной, и он невольно учил детей мыслить всем сердцем; и за это его уважал Магуи, но больше любил маленького Фербу.

Фербу был веселым, беспокойным директором колхозного клуба; чуткий, много знающий человек и выдумщик; ему казалось, что всякая полезная мысль может немедленно стать делом. Денег в колхозе водилось немало, но если Фербу позволить делать все, что он выдумывает каждый день для душевного блага колхозников, то он разорил бы весь колхоз.

Фербу был взволнованным знатоком горестной истории дунганского народа. С тихой, убедительной грустью он говорил правлению колхоза, когда ему отказывали в его страстных требованиях, что такому народу, все испытавшему и все получившему, нельзя предлагать в клубе только шашки.

Фербу искренне думал, что на земле нет ничего возвышеннее искусства, и он требовал большого искусства для своего колхозного народа; он устроил колхозный дунганский музыкальный ансамбль, который в старинных костюмах ездил по многим колхозам и пользовался почетом. Он хотел иметь в колхозе и театр, который ставил бы такие старинные и современные пьесы, чтобы дунганский народ пережил вновь всю свою судьбу — от великого унижения до народной гордости.

— Боюсь, таких пьес немного! — сказал Магуи.

— Этого не может быть! — сказал Фербу. — Если об этом не писать, то о чем же писать вам, поэты? О том, как ласточка пролетела над веткой тростника, и счастливый тростник потянулся вслед за нею? Как девушка с лунным лицом наполнила водою розовую большую чашу, положила в нее свое одинокое сердце, сверху — камышевую дудочку, и стало сердце петь ей горькую, знакомую песню?

— Если это плохо, — сказал Ду-Фу, — то Фербу ничего не понимает в истинной поэзии и хочет, чтобы поэт перестал быть поэтом.

— Я понимаю: если поэт может хорошо, навсегда хорошо написать об одинокой девушке, то почему ему не писать об одиноком народе, который нашел, наконец, себе землю, любовь и полную чашу?

— Положить на свою ладонь сердце девушки легко, — сказал Магуи, — а сердце целого народа... Ты, понимаешь, Фербу?

— Но если этого требует народ?

Магуи шел по знакомой улице, окруженный друзьями, заглядывая во дворы, легко их узнавая, радовался и удивлялся, окликал колхозников, пожимал их руки и шел дальше, и друзья были счастливы его радостью и ласковым почетом, какой оказывали колхозники своему лучшему поэту. И не только дунгане радовались ему: Магуи складывал песни и на киргизском языке; киргизы и казахи знали их, пели во дворах у своих очагов и на высоких пастбищах; знали его песни уйгуры и многие рус-

ские, владевшие дунганским языком, как родным: в колхозе, под великим ледником, вместе жили и работали пять народов.

Друзья свернули с главной улицы и прозрачными садами, полными заката, вышли за село, увидели большое низкое солнце в зеленых холмах и золотую предвечернюю даль за холмами. Меж камней чернела горная река и ярко белела на поворотах.

— Это камни Рамазана, — сказал Фербу, — здесь он сочиняет маленькие стихи для своих мальчиков и девочек. Когда он сочинит свое самое сильное и короткое стихотворение, мы высечем его слова на одном из этих камней.

— Я тоже буду об этом мечтать, — сказал Магуи, — может быть, и мне посчастливится оставить один свой стих на камнях у колхозной реки.

— Камней не хватит, — почтительно улыбаясь, сказал Ду-Фу.

Он разделся первым и побежал по камням, высоко прыгая и блестя под низким солнцем смуглым телом. За ним побежал Магуи.

Камни были такие теплые, что казались мягкими; вода чернела на закате; над теплыми камнями и водорослями летали, вдруг уносясь в сторону, голубые стрекозы.

Магуи опустил в водоворот, его сжогло холодной водой, оторвало от камней и понесло. Он перевернулся на спину; стало страшно и весело. За ним неслись в потоке Ду-Фу и Рамазан.

На повороте реки Магуи задержался, распятый меж камней; за него зацепились остальные; вода перекатывалась через них.

— Хорошо! — сказал Магуи, выползая на мягкий камень; тело его стало гладким и твердым. Он долго прыгал, согреваясь. Солнце опустилось совсем низко; Магуи смотрел на него сверху вниз; оно растекалось по холмам, и дальние воздушные хребты Тянь-Шаня порозовели, как облако.

— Хорошо вы живете! — сказал Магуи друзьям. — Кто скажет теперь: «Все есть в мире, все — для человека, ничего нет только для дунган», как говорил когда-то старый народный поэт?

— Абдулла из Шеньси, — сказал Рамазан, — о котором в песнях говорится: «Абдулла жил в незапамятные времена, потроха продавал и песни слагал...»

— О грусти и справедливости, — сказал Фербу. — Абдулла из Шеньси, презренный всеми бедняк, обвешенный воючими бараньими кишками, всю жизнь служил народу. Почему вы с ним плохо соревнуетесь, богатые и счастливые?

— О счастье петь очень трудно! — ответил Магуи. — Разве мы не первые поем? Время нас еще не успело проверить, и мы даже не знаем, когда ошибаемся.

— Ну, и пойте смелее, — сказал Фербу, — чтобы и народу, и времени, и мне для клуба было из чего отбирать...

Поздним вечером у Ду-Фу собралось девять человек гостей — особенных почитателей высокого и простосердечного таланта Касыма Магуи. Пришел и председатель колхоза Вана-Хун, человек странный для тех, кто не близко знал его; он носил фетровую шляпу, хороший костюм и русские блестящие сапоги.

У Вана-Хуна не было ни семьи, ни родственников; с малых лет он жил один, его отец и мать — женщина прекрасная, истрадававшаяся, мрачная — погибли на Дунгановке — зеленой окраине Пишпека.

Маленький Вана-Хун долго скитался и голодал, он рос, скитаясь по всей Киргизии и Южному Казахстану, и остался на всю жизнь слабый ростом от недоедания.

В дунганское селение за синим озером Иссык-Куль Вана-Хун попал, когда был уже взрослым мужчиной, еще не познавшим ни одной большой радости, уставшим от случайной жизни везде, среди любого простора; он хотел спокойной, оседлой работы и начал задумываться над тем, для чего жить и для кого ему работать.

Трудолюбивым дунганам — старинным мастерам земли — очень советовали в то время создать сельскохозяйственную артель и вместе, на новой зем-

ле, работать над ценными культурами, но многие сомневались.

Вана-Хун сказал дунганам на собрании так:

— Я буду говорить тем, кто умеет слушать: зачем петь песни глухому? Мы свободный народ той страны, где нет обездоленных. Наше государство говорит нам: «Вы голодные валялись у байских ворот. Теперь вы все получили. Ваше дело трудиться от чистого сердца!» Что мы можем ответить нашему государству? Разве можно захлопнуть наши сердца и сказать ему недоброе слово? Разве можно работать так, чтобы от нашей работы плакала родина? Мы должны ответить: «Возьми мою работу, возьми мою жизнь — и этого мало!» Большой урожай на наших полях, много хлеба и денег будет в нашем селении, если мы станем работать так, как советует нам наше мудрое государство. Или черная ночь для нас лучше солнечного дня? Возьмите же ваши сердца и отдайте их тому великому, о ком поет песни весь благодарный народ. Идите и работайте, чтобы наши поля были полны народа. Соберите с полей весь урожай, и пусть наши тяжелые караваны идут от восхода до заката солнца. Таков ли будет наш ответ дорогому государству? Правильно ли я сказал, колхозники?

— Таков будет наш ответ. Ты прочитал нашу душу, Вана-Хун!

Вана-Хун ничего не боялся: ни жаркого труда под огромным солнцем, ни одиноких страданий, ни лживых слов. Вана-Хун верил в себя и в свое счастье. За три года он построил себе дом; он работал на колхозных полях с первого до последнего света, когда не видно уже было ни любимой земли, ни возделанных им богатых растений, ни своих рабочих рук; и когда его раз спросили:

«Вана-Хун, что вы, дорогой, так стараетесь?» — Вана-Хун спокойно ответил:

«Первый раз в жизни я работаю как человек и всю жизнь буду так работать».

Вана-Хун, не договорив, посмотрел на собеседника; тот опустил глаза и ушел. В большом одиноком, обросшем цветами

доме Вана-Хуна по вечерам было тихо; через год стал слышен смех. К Вана-Хуну стали часто и охотно заходить Фербу и Рамазан.

Вана-Хун полюбил сестру Рамазана.

Ее звали Хичжэ — Черная Сестра; она была маленькая, свежая и незаметно прекрасная, как цветок на рассвете; нежная и добрая. Зрелый мужчина, узнавший в своей долгой бродячей жизни всю откровенную простоту бедных желаний, он молчал о своей первой любви год; за это время он стал очень уважать поэтов, которые умеют петь о чистой, удивительной любви так, как он умел только мечтать.

Через два года Хичже стала его женой.

Хичже была комсомолкой. Вана-Хун во всем верил Хичже; она была для него единственной женщиной, слово и улыбка которой не утомляют никогда. Она много читала; и Вана-Хун привык читать.

Он стал коммунистом; его избрали председателем колхоза, как лучшего знатока колхозных полей, пастбищ, жизни...

На лежанку поставили два низеньких столика, принесли много больших пиал с цун-цеем, блюда с соевыми бобами, с кусочками пресного теста, вываренными в кипящем бараньем сале, — очень вкусное блюдо, киргизы называют его боурсак; разлили по пиалам черный китайский чай.

Когда гости наелись так, что даже соевые бобы остались на блюде, Касым Магуи предложил всем свой портсигар, закурил и сказал простым негромким голосом, в котором чуть заметна была усмешка: Магуи был сильным оратором и знал, как неумно и скучно голое бесчувственное слово:

— Дорогие товарищи, поэты земли, создатели песен и колхозов, позвольте сказать вам несколько слов откровенно и чистосердечно. Я не буду вас хвалить, вы сами хвалите себя своими делами и песнями. Я не стану говорить о ваших полях и пастбищах, я мало еще видел и мало думал о том, какие новые, невидимые сейчас богатства человек должен

взять от своей земли, растений и скота. Я знаю только, что в вашем прославленном колхозе есть чудесные женщины: у них такие умные, ловкие руки, когда они собирают урожай, что нельзя их не любить.

— Таких женщин у нас много, — вашей любви, Магуи, на всех нехватит! — сказал Вана-Хун.

— Он говорит, как поэт, поэт обязан преувеличивать, — сказал Фербу.

— Нет, он говорит, как оратор, оратор должен любить одну правду, — сказал заведующий молочной фермой.

— Я говорю, как человек! — сказал Магуи. — Вы настроены весело, — я буду говорить серьезно. Сегодня я думал: человек может счастливо любить — он бежит от любви; человек может жить чисто, радостно, спокойно — он забыл о прекрасной жизни. Я думал: как назвать такого человека?

— Я назвал бы, — с веселым озорством проговорил Вана-Хун, — но по дождем, что скажет дальше Магуи, поэт и оратор.

— Магуи скажет немного: товарищи миллионеры, почему вы живете не так, как могли бы? Я заходил сегодня во многие дворы, и сердце мое не стало веселым. Почему вы работаете на колхозных полях и пастбищах чистыми руками, а живете в старых домах?

Гости молчали. Ду-Фу с укоризной взглянул на Магуи: зачем он смутил веселье гостей своим неожиданным словом?

Вана-Хун спокойно сказал:

— Того человека, о котором вы сейчас говорили, уважаемый Магуи, зовут Вана-Хун.

— Но у тебя самый чистый и богатый в селении дом! — сказал Рамазан.

— Я мужчина, Рамазан, меня не надо защищать. Дома у вас старые. Пусть Ду-Фу нам сейчас скажет, почему он принимает поэта, друга своего Касыма Магуи в такой слепой мазанке? Кто виноват в том, что у молодого Ду-Фу нет страсти жить хорошо, чтобы работать еще лучше? И Вана-Хун говорит Магуи: спасибо, ты

прав! Ты умеешь видеть, а мы привыкли к самим себе. Когда вы приедете к нам на будущий год, Магуи, ваше сердце будет веселым. Прошу вас об одном: на днях я соберу общее собрание, — скажите всему народу то, что вы сказали нам, как наш отец, с любовью и вниманием, а сейчас осчастливьте нас своими новыми стихами.

Гости благодарно взглянули на своего Вана-Хуна и сели удобней.

Магуи сказал:

— У Ду-Фу есть новые стихи!

На другое утро Рамазан шепнул Магуи:

— Через неделю ты уедешь. Поживи у меня хотя бы один день, не обижай меня!

Магуи сказал Ду-Фу, что будет обязательно у него на празднике в честь его свадьбы с любимой женщиной, и перешел жить к Рамазану.

У него была такая же комната, как у Ду-Фу, чуть меньше; на столике и стенах — много фотографий дунганского музыкального ансамбля и самых талантливых музыкантов в старинных костюмах.

В первую ночь Магуи лег спать в саду.

Он проснулся ранним утром: ласковый теленок нежным, теплым языком лизал его лицо. Магуи стал гнать теленка, но теленок не хотел уходить и все тянулся ползать знаменитого поэта. Солнце вставало над садом, в саду была утренняя нетронутая тишина. Над Магуи свисали яркие ветки урюка, алычи и яблоч.

Магуи долго лежал навзничь, рвал с низких веток розовый, спелый урюк и думал о том, что люди сто веков мечтали о рае и, умирая в страданиях, создали, наконец, на истстрадавшейся земле человеческую жизнь; жизнь эта полна просторных мыслей и величественных забот, — обыкновенные люди делают бесконечную жизнь, но чувствуют себя обыкновенными.

«Мечты отстают от жизни, — подумал Магуи, — никогда еще в жизни с людьми этого не случилось».

Магуи встал, обулся, сложил свою

влажную от ночной росы постель и вышел за разрушенный дувал к ручью умываться.

Плоский, прозрачный мелкий ручей быстро протекал через сады. Магуи долго плескался в прохладном ручье ипил его досыта, а когда поднялся и вдохнул в себя всю просторную нежность утра, согретого первым солнцем, увидел рядом с собою Рамазана.

Рамазан задумчиво стоял над быстрым ручьем.

— Мне хорошо, Рамазан, очень хорошо! — сказал Магуи. — Я живу даже во сне, — такая во мне радость. Какие у вас сады! Все зреет в них, и они спокойны, и я сейчас не мог бы написать ни одной строчки, так мне хорошо.

— Не все могут так жить! — сказал Рамазан, радуясь утреннему счастью своего друга. — Твои уважаемые, родные мать и отец дали тебе душу, близкую всему хорошему. Ты счастливый человек, Магуи!

— А ты?

— Я — нет. Сады были и раньше, и не в утренних садах жизнь человека, Магуи! Я не могу думать о себе, все свои мысли я отдал другим. В своем народе я вижу и понимаю каждого человека, — и каждый человек меня беспокоит. День и ночь я думаю о будущем своего народа — даже тогда, когда, казалось бы, не думаю ни о чем. Пойми. Не один дунганский народ во мне: есть государство народов. Я думаю об его будущем. Я должен отдать ему всего себя, и я счастлив, когда отдаю себя так, что не чувствую ни дней, ни ночей. Мои дети никогда не простят мне, если я не научу их быть сильными и прекрасными во всем.

К ручью подошел Ду-Фу в новом костюме и блестящем галстуке, поздоровался, постоял и торжественно проговорил, что сегодня у него — почетный завтрак в честь счастливого приезда Магуи.

— О, — сказал Рамазан, — чжукуй-ши, большой завтрак! Кто от него откажется?

За воротами стояли молодые тополя; с одной стороны начиналась улица, с

другой — колхозное поле; казалось, оно лежало до самого подножья дальних гор. Недалеко от тополей работали женщины, и Магуи опять подивился ровному проворству их рук. Его познакомили с лучшей — молодой застенчивой женщиной: ее тонкие, умелые, неутомимые пальцы собирали за одно утро столько же, сколько руки семи обыкновенных женщин. Магуи сказал ей:

— Я завидую вам: если бы у меня было семь пар рук, сколько я написал бы песен!

— Настоящему поэту, — ответила молодая женщина, — надо иметь только одну пару рук и семь сердец! — и застыдилась. Подруги ее стали смеяться. Магуи улыбался смущенный и довольный. Ду-Фу взял его под руку и сказал, что пора торопиться.

Двор был огромен; вокруг двора росли молодые деревца, солнце забавлялось ими, и они смеялись всей листвою, не переставая. Навстречу Магуи выбежал белый щенок; он был длинный и веселый, с голубыми счастливыми глазами; он так обрадовался незнакомому гостю, что, казалось, всю свою молодую жизнь только и ждал его прихода, и Магуи обрадовался белому щенку. Щенок умел относиться к человеку только с восторгом; Магуи, бегая по всему двору и смеясь, долго развлекался с ним. Ду-Фу взял Магуи под руку и прошептал, что пора идти в комнату.

Магуи, смеясь, переступил через порог и ничего не увидел, кроме той, которую потом не мог забыть никогда: это был ветер счастья, он бывает однажды. Перед Магуи стояла девушка с белым лунным лицом, яркими губами, чуть розовым ровным румянцем — и светилась вся; у нее были синие продолговатые глаза; вся радость счастья, возможная на счастливой земле, была в этих глубоких, спокойных глазах, они смотрели гордо, откровенно — и чуть звали. Черные, ясные волосы девушки были приглажены так, что не отделялся ни один волосок, на ней было старинное темное кимоно с очень широкими рукавами, расшитое птицами, темные узкие штаны и

мягкие китайские туфли с белой толстой подошвой; в руках — яркий веер.

Она сказала Магуи несколько слов. Магуи забыл их сейчас же; и он сказал ей слова, которые никогда не мог вспомнить. Девушка тихо ушла. Магуи опомнился, когда уже сидел на кане, на самом почетном месте.

«Я должен сегодня же отсюда уехать», — подумал он, увидя вдруг пустую комнату с обширной лежанкой, европейской постелью, сундуками, велосипедом, фотографиями.

Магуи старался не смотреть на Ду-Фу: молодой, сдержанный, простой Ду-Фу показался ему человеком несбычайным.

«Он обессмертил себя своим счастьем», — подумал Магуи, но внесли блюда, и Магуи заставил себя быть обыкновенным.

По углам скатерти поставили четыре блюда с острыми закусками; потом внесли девять блюд и поставили их в три ряда: здесь было все из соевых бобов, гороха, мяса, теста, лука, перца, уксуса, приготовленное так разнообразно, что ни одно блюдо не повторялось и каждое имело свой особый пряный вкус, проверенный веками; маленькая неслышная девочка разливала чай.

Когда чжукуй-ши кончился и гости ушли, Ду-Фу сказал Магуи:

— Пожалуйста, пойдем ко мне, я покажу тебе мою новую комнату, где я живу не один.

— Хорошо, — сказал Магуи, не глядя на Ду-Фу, — только позволь пригласить с собою Вана-Хуна.

Друзья прошли на другой конец селения, ближе к зеленым горам.

Комната Ду-Фу поразила Магуи своей тишиной и обдуманым легким уютом; было неприятно только, что комната густо пахла духами и одеколоном.

Окна были закрыты синими занавесками, и в комнате было одиноко. В углу стояла белая высокая кровать, украшенная черными мутаками; на их концах ярко выделялась вышивка — тонкая, как жизнь, живопись шелком, — простые, ясные рассказы из давно прошедшей, словно и не бывшей жизни. Над кроватью висел ковер с драконами, умираю-

щами от любви в объятиях друг друга; глаза драконов были теплыми, усталыми, живыми; они умирали от счастья. Сбоку кровати висела на стене вышитая картина: она изображала рыб; они подымались со дна к поверхности моря — худые, с жадными, сильными движениями — внизу, толстые, тупые — наверху.

— Что это? — спросил Магуи.

— Рыбы вместо людей, — сказал Ду-Фу, — таков сюжет этой старой картины. Эта картина показывает, что в старом проклятом обществе маленькие люди должны быть немые, как рыбы.

Стол был покрыт бледной прозрачной тканью: серая скала, на скале — длинный цветок и старый серый отшельник с молодым, все испытавшим, неподвижным лицом; на столе стояли флаконы с московскими духами и патефон.

Ду-Фу пригласил гостей присесть на венские стулья, сказал:

— У меня — только восточные пластинки: китайские, киргизские, узбекские, казахские, туркменские, таджикские. Сейчас я заведу китайскую.

Долгие, чуть горькие тихие звуки, родные всем человеческим страданиям и самому нежному последнему счастью, заполнили комнату, и Магуи опять забыл себя.

Ду-Фу менял пластинки. Магуи смотрел на вышитых драконов.

На другой день утром он выехал в горы, вместе с Вана-Хуном.

Магуи давно не ездил верхом. Ему подвели лучшего в колхозе коня — светлосерой чистой масти, величественного и беспокойного, с нарядной скаковой уздечкой, оседланного английским седлом. У дома правления собралось несколько колхозников; сбежались дети. Магуи сел верхом, конь закрутился и заиграл. Магуи пустил его по главной улице, за ним поспекал Вана-Хун.

За садами дорога вошла в ущелье и стала подниматься вверх вдоль горной веселой реки. На реке строилась белая колхозная гидростанция. Вана-Хун приостановил коня и сказал Магуи:

— Когда вы придете к нам на будущий год, наша жизнь будет светлее. Я обещаю вам, Магуи, что наше дунган-

ское селение станет образцовым в Киргизии. Вы знаете, я никогда не говорю того, что не могу исполнить.

Ущелье долго поднималось, река торпливо шумела навстречу путникам; на ее крутых берегах показались тяньшанские ели, юрты и пасека под елями; ущелье открылось с одной стороны, на необозримом склоне зазеленели стога, колхозные покосы.

Всадники переехали реку вброд, кони поднялись из реки в такую высокую траву, что стало трудно сидеть в седле. Над покосами стоял запах свежего сена и разогретых солнцем елей.

Вана-Хун направил коня к дальним юртам; возле них были чуть заметны лошади и сенокосилки.

За юртами опять переехали реку вброд; каменная тропа круто пошла вверх; тропе мешали корни деревьев, скалы, разлившиеся под травой родники; из глубокого ущелья поднимались к тропе вершины елей.

Кони шли осторожно, с трудом. Небо голубело высоко впереди; встречные ели с одной стороны были солнечны; многие росли могуче, тремя-четырьмя стволами из одного корня, иногда стволы тянулись по земле, потом загибались к небу; под ними было чисто от травы, земля засыпана иглами и шишками.

Кони и всадники вспотели от долгого подъема, и был приятен слабый ветер с горных вершин. На склоне, у родника, показалась юрта.

Вокруг юрты стояли огромные тяньшанские ели; под ними пахло молоком, навозом, костром, и эти же запахи приносил горный ветер; всюду на джайлоо паслись колхозные коровы, лошади, овцы, росла сытная трава и быстро текли родники. Из юрты вышла пожилая киргизка и, улыбаясь, сказала гостям привет. Вана-Хун взял коня Магуи и привязал поводья за ветку.

Сейчас же за елью начинался обширный, пологий склон; цветущее пастбище простиралось вниз, к покосам и сверкающей, неслышной сверху горной реке.

В полуденной траве паслись коровы и отдыхали телята; выше, за елями, за-

метны были белые и темные косяки кобыл.

Весь склон, покрытый обильной травой, был виден бесконечно до самых дальних стогов и юрт; над глубоким его простором, из-за лесистых хребтов белели вершины Терской Алатау.

В юрте у большого родника жили доярки молочной фермы, заведующий искусственным осеменением на фермах и пастухи; с одной стороны юрты стояли на влажной земле два швицких крупных теленка нежной масти, с другой — сепаратор, маслобойка, пресс для масла, подошники, прикрытые марлей; посреди тлеет костер.

Магуи вошел, нагнувшись, через низенькую дверь и поздоровался; в юрте был сумеречный свет, и в нем — полным-полно людей; они приветливо улыбались.

— Садитесь, пожалуйста, — певучим, ласковым голосом произнесла русская женщина, — отдыхайте, дорогие, к нам редко кто ездит, мы вам рады! Отдыхайте, пожалуйста, рассказывайте новости. Я вам сейчас — молочка с пирогом — с дороги!

— Вы все здесь живете? — спросил Магуи.

— Все. У нас пока одна юрта.

Магуи недолго посидел и вышел.

Были все те же, в просторе и солнце, тяньшанские ели — высокие, мягкие, живые в вершинах, и долгий горный склон, на котором паслись обобществленные стада, и радостное, сильное, чистое небо.

Из юрты вышел Вана-Хун.

— Джайлос! — сказал он и вдохнул в себя воздух гор. — Хорошо здесь, Магуи?

Из юрты вышла старшая доярка.

— Клавдия, — строго спросил он ее, — что вам надо, чтобы лучше жить?

— Еще одну юрту скорее надо бы поставить, Вана-Хун!

— Вана-Хун, — сказал Магуи, — вы должны сегодня же поставить дояркам вторую юрту! Нехорошо смотреть, что это не сделано, когда кругом — такие пастбища, воздух и вода: все —

для человека. Вы обязаны заботиться о людях.

— Магуи, вы видели вчера искусно вышитую умную картину, как рыбы выходят в люди: эта картина показывает, что в старом проклятом обществе маленькие люди должны быть немые, как рыбы, чтобы стать людьми. Пусть же теперь они говорят обо всем, что они видят плохого... Хорошо, я поставлю здесь вторую юрту. Во второй юрте будут сепаратор, маслобойка, чаны и весь инвентарь. И ни одного человека! В первой юрте людям будет просторнее и лучше. Вот это, по-моему, дело!

— Когда вы ее поставите?

— Вернуса в селение, найду и куплю.

— Возвращайтесь! — сказал Магуи и протянул руку Вана-Хуну. — Я один подымусь на овечьи пастбища, хотя мне не хочется с вами расставаться, честное слово!

— Вы хороший человек, Магуи! — сказал Вана-Хун и пошел к своему коню. — Жду вас через два дня в своем доме! — весело крикнул он, спускаясь по тропе вниз, мимо елей.

Старший овечий пастух Туратбек провожал Магуи на свои пастбища; выше них были только скалы, на которых показывались иногда илеки — горные козлы, а еще выше — ледники и небо. Ехали молча.

Туратбек был крепким, спокойным киргизом, с неподвижным сытым лицом, неопределенного возраста — от тридцати до пятидесяти лет; он прямо сидел на ловком невысоком коне и молчал из почтения к славному гостю, хотя ему очень хотелось узнать новости от большого человека; на горных пастбищах не было радио, и газеты привозили редко, а во всем мире, говорят, шла небывалая война, и ночами, когда виден только ближний ледник, словно просвет среди ночи, Туратбек, стоя у своей юрты и слушая, как спокойно дышит во сне его стадо, думал о далекой войне всего мира и о своей стране, которой война была не нужна, и сердце Туратбека ночами было беспокойно.

Магуи не хотелось ни о чем говорить: чем выше поднимались кони, тем яснее делалась мысль. Кругом станови-

лось все просторнее, трава ниже и чище, больше скал и камней, шире и шумнее родники; последние ели, остались сзади, рассыпавшись по крутому свежему склону; открылась обширная, в скалах, чуть зеленая вершина подъема — под большими облаками и сбоку — совсем близкий ледник — как упавшее облако.

Лошади пошли по узкой влажной тропе над глубоким ущельем; по его каменному, заваленному скалами дну рвалась с ледников река; по ту сторону ущелья, среди низкого кустарника показались огромные камни, похожие на юрты, овечьи загоны, юрты пастухов и стадо едва заметных овец, бегущее враспынную с вершины горы.

Тропа повернула от ущелья, лошади поднялись на бугор, и открылась ровная лужайка с большой юртой на траве; рядом с ней, на вытоптанном, черном от овечьего помета, склоне стояли низкие овечьи кормушки. От юрты бежали два рыжих пса, но, увидев Туратбека, остановились и приветствовали его нарядными хвостами.

— Поедем, посмотрим сперва ледник, — сказал пастуху Магуи, — потом слезем с коней и будем отдыхать.

Подъем на вершину горы был очень крут. Псы бежали за лошадьми, обегали их, играли и резвились по склонам, осыпанным камнями. У камней росли высокогорные карликовые сосны; они прижимались к теплым камням, заползали в трещины, раздвигали их своим телом, и камни лопались; казалось, ползучие сосны растут на камнях.

— Смотри! — прошептал Туратбек и показал пальцем на другую скалистую вершину, чуть прикрытую кустами; на вершине стоял горный козел — илек. Он постоял мгновение, нюхая камни под ногами, поднял голову и исчез.

— Завтра с рассветом пойдем на охоту! — сказал Туратбек и хитро улыбнулся. — Трудная охота, но очень весело.

Сосны кончились; остались скалы и низкая овечья трава. Из-за вершины подул ветер, кони еще поднялись наискось — и блеснул оплывший под солн-

цем ледник — так близко, что, казалось, можно бросить в него камень.

С вершины горы было видно и подножье ледника, грязноватое от осыпавшихся камней и талой воды; здесь начиналась горная река.

По другую сторону вершины, глубоко под ногами лошадей лежало черное озеро Кара-Куль, с ледниковой синей водою.

— Дальше есть еще два озера — белое и голубое, — сказал Туратбек, — но надо быть очень сильным человеком, чтобы пройти туда.

— Вы их видели? — завистливо спросил Магуи.

— Здесь, я все видел.

Юрта Туратбека была просторна; посреди, под железной треногой горел слабый костер, вокруг стояли яркие, окованные сундуки, шкафчик, седла, высокие стопки толстых одеял, разноцветных мутак, подушек, кошм, овечьих, волчьих, козлиных, жеребьчьих шкур; в приоткрытом верхнем отверстии юрты вечерело небо, в юрте было спокойной и чисто.

Магуи поздоровался с женой Туратбека — молодой Аимкан; она была крепкая телом и вся плавная, легкая в движениях, только чуть звенели на руках широкие браслеты, серебряные украшения на груди и на концах длинных черных кос. Рядом с матерью, на кошме стояла маленькая Ашиян, очень спокойная, внимательная, с браслетами на ручонках и с перышком на бархатной шапочке.

После седла и долгого пути по высоким тропинкам Магуи с удовольствием прилег у костра на свежие кошмы и мутак и шутя поманил к себе Ашиян. Она доверчиво подошла к нему, потом обернулась и посмотрела на мать. Аимкан улыбнулась. Девочка присела рядом с Магуи; он приложил к ее уху часы; она опять взглянула на мать, вдруг засмеялась и осторожно прикоснулась пальчиком к носу Магуи.

Женщина поставила перед Магуи большую пиалу с осенним густым кумысом. Туратбек удовлетворенно

кивнул головой и вышел убраться лошадей.

Магуи остался в юрте вдвоем с Аимкан. Она спокойно сидела, скрестив ноги; свет небольшого костра делал ее лицо блестящим. Ашиян взобралась к ней на колени. Магуи незаметно смотрел на молодую женщину с ребенком.

Все было спокойно вокруг: горный вечер и дальнее блеяние овец, особенная тишина войлочной юрты, мягкий древний уют ее кошм, овчин, тихого костра, и Магуи посетило счастливое чувство, которое рождает новые, никому не известные песни. Магуи предчувствовал их, но не знал, какими они будут: возвышенными и строгими — и люди будут их слушать с гордым уважением к самим себе, — земными, простыми — и люди будут их любить, как мать своего ребенка, — а, может быть, это будет странная, неясная песня, и многим она еще ничего не скажет, а немногие будут помнить ее всю жизнь, как помнят песню о высокой реке, падающей с гор и никуда не впадающей; река вечно терялась в неизвестных песках, но народ однажды взял и вывел ее в море — и река оросила народные поля.

Аимкан сидела, освещенная домашним костром. Магуи чувствовал в себе легкий, бесконечный покой, вспоминал неспокойную душу Рамазана, маленькие горные сосны, у которых столько сил для жизни, и пристально смотрел в костер: в огне можно увидеть все.

Аимкан сидела неподвижно и смотрела в огонь.

Магуи вышел из юрты.

Подпасок пригнал к юрте отару овец, слез с оседланного быка и привязал его шерстяным арканом к колышку, вбитому в землю; в рот быка была вложена палочка — мундштук и привязана веревкой за бычью шею; черный бык стоял, не двигаясь, на коротких ногах и тяжелыми задумчивыми глазами смотрел на Магуи.

Солнце исчезло, из-за скал выполз туман, закрывая ледник и зеленые вершины гор; туман быстро спускался вниз, цепляясь за камни, за извитые на камнях сосны; он был густой внизу, у самой земли; скоро бык и овцы сто-

яли уже по колено в тумане, а туман продолжал спускаться; вдали, совсем отчетливые, стояли высокие ели, и небо над ними было чистое.

Туратбек и подпасок ловили овец и привязывали их к длинным арканам, низко растянутым над землей. Ашиян вышла из юрты и, весело смеясь, стала бегать за ягнятами, исчезая в тумане и вдруг появляясь под ногами со смеющимся, лукавым лицом.

Аимкан начала доить овец. Псы легли на бугор, над туманом, и спокойно смотрели на пятна отары в тумане и на дальнюю звезду над далекой равниной.

Ради приезда славного гостя вечером приготовили бишбармак. В юрту Туратбека собрались пастухи и подпаски всех отар; они сидели на кошмах, скрестив ноги, вокруг жаркого костра, пили из маленьких пиал жирный бараний бульон.

Пастухи были счастливы: среди них — такой же, как они, только чуть иной — сидел их поэт, прославленный народом; слава его была их славой — честных, мужественных пастухов и проворных подпасков.

Туратбек почтительно взглянул на Магуи.

— Расскажи нам, — осторожно промолвил он, — как там люди — за кордоном?

Была ночь, и лошади, опустив головы, спали, привязанные снаружи к юрте, когда слушатели почтительно разошлись, довольные широкими познаниями Магуи в делах всего мира, ясными, грубоватыми шутками народного поэта и его короткими песнями, что заставляют петь сердце.

«Киргиз, совершенный киргиз, и поэт по-киргизски!» — говорили пастухи-киргизы, идя через туман и ущелье к своим юртам.

«Говорит красиво и легко, как старый казах!» — вспоминая слово Магуи, отвечали им пастухи-казахи.

Аимкан постелил гостю постель: овечьи и козьи шкуры, на них — несколько кошм, толстое одеяло — и прикрутила фонарь. Магуи быстро разделся и лег. Туратбек тщательно и

расково покрыл его тремя одеялами и тулупом.

— Спасибо, Туратбек, — сказал Магуи, — но я задохнусь!

— Нет, так хорошо: ночи уже очень холодные, ледник рядом! Спи спокойно.

Снизу юрты проникал холодный воздух, и всю ночь лицо Магуи было свежим, а телу тепло.

Только к утру Магуи почувствовал прохладу и тяжесть. Он проснулся, сбросил с себя тулуп, одеяло и приподнялся.

Туратбека не было рядом с ним, поодаль тихо спала Аимжан, у головы ее — Ашиян. В юрте было прохладно, утреннее, чуть пахло остывшим костром.

Магуи оделся и вышел.

Был туман; он пахнул овечьим пометом и шерстью; очень далеко — и очень близко, как во сне, заметны были в тумане высокие ели. По мокрой, в крупных каплях, траве Магуи прошел к ущелью и стал на сырую скалу; горная сосна лежала, свернувшись, на скале.

Сосна была большая, яркая; жадным стволом она оплела скалу, проросла — и скала лопнула; сосна была живая, сильная; скала — мертвая.

Магуи долго стоял на скале и ладонью гладил живую сосну. Утро было в тумане: ни ледника, ни зеленых вершин, ни юрт, ни овечьих стад; утра не было.

Магуи обернулся.

Далеко внизу туман разорвался над Иссык-Кулем; над великим озером были солнце и облака.

Дальнее озеро лежало среди строгих вершин затуманенных гор. Магуи смотрел на него с высоты трех с половиной тысяч метров.

Чувство неожиданного, отчетливого в тумане, всемирного простора подхватило и подняло Магуи, и он перестал себя помнить, а простор невыразимо далекого озера среди снеговых, чуть розовых в разорванном тумане вершин подымал его все выше, в такую светлую даль, что сердце Магуи сжалось, испуганное счастьем; солнечные тысячи строк, написанные им об одном человеке и не сказанные еще никому, даже лучшим друзьям его жизни на первом вечере у Дуфу, — сверкающие тысячи строк воз-

никли сразу и вдали, как один бесконечный, вечный образ — и образ человека встал над солнечным, все разорвавшим простором.

Но небо быстро затянулось. Над озером вырос туман, над высокими горами он стал очень густым; в тумане поплыли ближние скалы и ели, прижавшиеся к скалам.

День кончился в тумане, и утро началось им.

Магуи стал спускаться с гор. Мокрыми были стремена, поводья, конская шерсть; весь мир был серым, тяжелым; казалось, что солнца не будет никогда.

Конь Магуи шел осторожно, оседавая задом на скользкую падающую тропу; в тумане возникали неясные вершины сосен, потом близкие стволы их, и не было слышно ничего, кроме звучных ударов конских копыт о камни. Если бы Магуи не было так сыро, он сам почувствовал бы себя призрак; он подумал об этом, и ему показалось, что он стал выше и легче — и с новой, неожиданной для себя высоты увидел, среди просторно расставленных сосен, плывущий в тумане конский табун: сытые спины, легкие головы.

На склоне — одинокая и такая желанная — стояла юрта конных пастухов; туман стал пахнуть дымом. Магуи не был у табунщиков; ему захотелось на несколько минут сухого тепла и теплого пастушеского слова. Он приостановил своего коня у юрты. Из нее вышел пастух, молча приветствовал Магуи, торопливо привязал его коня, не прикрыв ничем седло, и Магуи удивился его торопливости.

Пастух вернулся в юрту, присел к огню и, продолжая свое дело, начал точить на камне длинный нож. Пастух молчал, и Магуи опять молча удивился. Угли отгоревшего костра были мягкие; слабые отсветы их освещали быстрое лезвие ножа, и оно чуть блестело кровью. Магуи спросил у пастуха, зачем ему такой длинный нож, и пастух, не останавливая своего дела, тихо сказал:

— Война!

То, о чем еще не знали на самых вы-

соких овечьих пастбищах, в этот день узнали от самых низких молочных пастбищ конные пастухи, но знали они мало: Война Родины с немцами.

И это все.

«Не может быть!» — торопливо подумал Магуи, хотя долгие годы собирался услышать эту весть каждый месяц и каждый день; он сидел у огня, отяжелев всей мыслью и сердцем; длинный нож пел на камне; он пел так, как хотел пастух; пел острым, длинным голосом старинную песню, песню о беспощадных битвах; пел по-своему — яростно, деловито, и Магуи почувствовал, что он стал опять высоким и стройным, как призрак, кивнул пастуху, очутился в седле, и конь сам, не боясь опасной тропы, скользнул вниз со склона, приседая на хвост и разбрасывая камни, еще ниже, — в ущелье, перерезал горный поток, поднялся на крутое пастбище и поскакал к невидимым долинам.

Трава становилась выше, тропа росла; горы уже чувствовались за спиной высоко. Туман был незаметным внизу, и сквозь него легко пошел дождь. Магуи было все равно.

Высокая, полная трава рвала Магуи с седла, и Магуи вдруг почувствовал, что оборвалось левое стремя; он выругался — неожиданно для себя самого, со вкусом, умело, остановил коня на скаку, соскользнул в траву, вернулся и, недалеко от стремени, увидел на тропе потерянную косу.

«Чорт с ней, с косой!» — подумал Магуи, поднял стремя, поднял косу, с трудом поднялся в седло с непривычной правой стороны и поскакал к обширным стогам, далеко видимым сквозь дождь.

Мокрые косари негромко разговаривали за стогом. Лошади были отпряжены и паслись; сенокосилки стояли одиноко. Магуи рысью подъехал к косарям, сказал им привет и спросил с седла:

— Когда объявили войну?

— Днем, по радио.

— Я сам слышал! — молвил молодой косарь. — Была речь по радио, все было сказано: что делать!

Дождь становился крупнее; вечерело, и все становилось темнее со стороны гор. Молодой косарь рассказал, что слышал; старший из косарей, величественный и хитрый взглядом старик, с длинными руками, сказал дерзко, смело, с русскою удалью:

— Война!

— Косу-то зачем терять? — ответил ему Магуи.

Старик обрадовался найденной косе.

— Спасибо, что нашел! — сказал он Магуи. — Наше дело, косарей, такое: коси и думай обо всем, думай да коси. «Руки наши оборонные», как в казачьем сказе сказывали наши русские старики.

И посмотрел на суровые свои ладони.

Вечер падал с дождем, и горная река шумела особенно, по-вечернему, из неверной темноты. Магуи первый раз в жизни ударил коня плетью; конь всем телом разорвал реку, в брызгах вынесся на темный берег и вскачь пустился по широкой дороге вдоль нетерпеливой реки.

У строгой вечерней скалы, мокрой и теплой, Магуи остановился, приладил стремя, мгновение послушал ровную тишину дождя и крупною рысью пошел вниз, к долинам и садам.

Мимо пронеслась колхозная гидростанция, холмы — и первые неясные тополя за высокими холмами. Открылась просторная улица в глубоких дождевых потоках. Магуи приостановил коня у двустворчатых ворот, вытянулся с седла, открыл ворота, и конь осторожно внес на темный двор свое крупное тело и остановился у слабо освещенного, изнутри завешенного окна; свет его неподвижно расплывался в черной ночи.

Ду-Фу не было дома.

«Все равно!» — подумал Магуи и сделал то, что никогда не позволил бы себе: вошел, вслед за юной женщиной, в комнату своего друга.

Со шляпы, платья и сапог Магуи стекла вода; он стал у двери, и женщина, в покорном и строгом ожидании, стала против него; она молчала и не приглашала его сесть. Прекрасным было ее лицо с чуть спрятаным взглядом. Магуи со спокойной печалью смотрел на это круглое, желанное лицо, смотрел,

счастливым и посторонним, как люди смотрят свой лучший сон, ничего не желая и боясь желать, и спросил резким, властным голосом:

— Что о войне?

Женщина ответила, что все, что она знает, знает и ее муж; он, наверное, у Рамазана. Магуи сразу повернулся, вышел под дождь и, почувствовав мужественную, нежную преданность к своему усталому коню, осторожно сел в седло и выехал за ворота, ничего не видя перед собой после яркой комнаты; прекрасные обыкновенные чувства остались за воротами.

Он спал у Рамазана. Три товарища лежали на одной постели: Магуи, Фербу и Рамазан. Они не хотели разлучаться в эту очень короткую ночь и крепко заснули под утро, усталые от новой, суровой, задумчивой близости друг к другу, от мыслей и чувств, которые не хотели быть больше лишь великими мыслями и чувствами, а хотели быть — одним действием.

— Война, — сказал Рамазан, — государственное испытание. На театре военных действий все становится открытым: чему мы учили и чему научились? Начинается битва. Вся жизнь должна быть отдана битве за жизнь. Пришло новое время, и старые слова становятся делом. Я иду на фронт. Вот и все, и давайте спать.

На рассвете Магуи выехал в город, вместе с Рамазаном. Большие, теплые сады остались у синих прохладных предгорий. Утро начиналось у далекого чистого солнца, омытого крупными дождями; воздух над великой долиной был высоким, прозрачным и пахнул жизнью — близкою, открытою дождями землею и отдаленными садами; воздух был такой чистоты, что до самого города путников не оставлял запах родных садов.

В городе простились.

Магуи обнял Рамазана, поцеловал его сильно, по-детски, отвернулся, и Рамазан сказал:

— Жизнь была такая большая, что страху не будет.

И поцеловал Магуи ласково, как старший.

Всю дорогу, до столицы своей республики, Магуи время от времени повторял про себя прощальные слова Рамазана; он вез их, как подарок друга. Он повторял их, эти последние слова при разлуке, повторял и повторял; они слегка менялись, складываясь вновь и чуть иначе, — собираясь, может быть, стать первою песнею войны.

Дорога была все той же.

Но все на ней и по ее просторным сторонам стало иным, очень точным, словно чуть сдвинулось с места и не забудется никогда. Сияющие вершины хребтов, зеленые домашние предгорья и вечно синее озеро сделались выпуклее, отчетливее, обширнее; казалось, быстрее проносятся по дороге машины, крупнее рысь под верхоконными, и у красивого дома отдыха на берегу озера дети успели выложить из белых камней вдоль дороги два точных слова:

«Смерть врагу!»

В Боомском ущелье, на обычном месте у бедных величественных скал, через которые сильным потоком рвалась Чу, перед светлой шумной водой и черными тихими горами, шофер, как всегда, остановил машину, чтобы взять воды и закусить у потока. Магуи присел на камень.

Река спадала у его ног широким ровным водопадом; голос воды был таким огромным, бесконечным, что все, и самые дальние горы, занимал собою, и все казалось тихим. Река текла с грозною, сплошною силой, открыто, — безостановочная и жестокая к себе и своим каменным берегам; и чем дальше Магуи смотрел в жадный, великий поток, тем просторнее и суровее делалось его сердце, и все невыносимее и нужнее становилась эта просторная суровость, и Магуи ясно, всем своим сердцем, увидел над потоком новый грозный образ человека.

Левитан

Н. РЫЛЕНКОВ

1.

Мы возмужаем и верней оценим
Простые краски, скромные слова.
Вот снова светит в золоте осеннем
Чуть тронутая солнцем синева.

И если ты художник, если зорок
Твой меткий глаз и обострен твой слух, —
Туманной тропкой выйди на пригорок,
Прислушайся и оглянись вокруг.

Перед тобой, как странницы босые,
Воспоминанья летние тая,
Бредут березы в дальние края,
А ветер тени путает косые,
Шумят грачи. И это есть Россия,
Твоя любовь, бессонница твоя.

2.

Смерть не страшна. Безделье хуже смерти.
С тоской не разлучается оно.
Распахнуто окно. И на мольберте
Укреплено тугое полотно.

Прозрачен день. Вглядись и кисти вытри,
Ты мастер. Будь рассчетлив, строг и прост.
Есть тишина, есть краски на палитре,
Чтоб звон листвы перенести на холст.

Повесить паутинки золотые,
Пустить тропинки по лугу витые,
Колючей щеткой выровнять жнивье,
И, оглянув пустынное жилье,
Забуть про все. Перед тобой Россия,
Твоя любовь, бессмертие твое.

3.

Меж русскими, быть может, самый русский
Ты, словно память детства, нам сберег
И пруд забытый с мельницей-раструской,
И ветхий дворик, и туманный стог.

Преодолев житейские тревоги,
Ты видел: сыновья моей земли
По каторжной Владимирской дороге
В распаханное будущее шли.

Над их судьбой задумавшись впервые,
Ты вспомнил все тропинки полевые
И отсвет зорь на берегу ручья.
Ты понял: сны и чаянья людские
Такой же явью сделает Россия,
Твоя любовь, бессонница твоя.

4.

Дымятся села. Дым пахуч и горек,
Места родные узнаешь с трудом.
Немецкой бомбой опрокинут дворик
И мельница разбита над прудом.

Околица. Распахнуты ворота
И ветер шаг подсчитывает наш.
Мы в бой идем, чтоб тенью самолета
Враг не накрыл прозрачный твой пейзаж.

Чтоб ароматы осени густые
Нам возвещали щедрость бытия,
Чтоб, словно медом, солнцем налитые
Нам подносили яблоки друзья...
Чтоб мачехой не стала нам Россия,
Твоя любовь, бессонница твоя.

Март — апрель

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ

Рассказ

★

Изодранный комбинезон, прогоревший во время ночевки у костра, свободно болтался на похудевшем капитане Петре Федоровиче Жаворонкове. Рыжая патлатая борода и черные от ввевшейся грязи морщины делали лицо капитана старческим.

В марте он со специальным заданием прыгнул на парашюте в тылу врага, и теперь, когда снег стаял и всюду копошились ручьи, пробираться обратно по лесу в набухших водой валенках было очень тяжело. Первое время он шел только ночью. Днем отлеживался в ямах. Но теперь, боясь обессилеть от голода, он шел и днем.

Капитан выполнил задание. Оставалось только разыскать радиста-метеоролога, сброшенного сюда два месяца назад.

«Выполнил задание!» Как это просто сейчас звучит. Сколько килограммов живого веса потерял он за этот рейд, а в теле его никогда не было лишней унции жира.

Последние четыре дня он почти ничего не ел. Шагая в мокром лесу, голодными глазами косился он на белые стволы берез, кору которых — он знал — можно истолочь, сварить в банке из-под тола и потом есть, как горькую кашу, пахнущую деревом и деревянную на вкус.

Размышляя в трудные минуты, капитан обращался к себе, словно к достойному и мужественному спутнику.

«Принимая во внимание чрезвычайное

обстоятельство, — думал капитан, — вы можете выбраться на шоссе. Кстати, тогда удастся переменить и обувь. Но, вообще говоря, налеты на одиночные немецкие транспорты указывают на ваше плохое положение. И, как говорится, вопль брѹха заглушает в вас голос рассудка». Привыкнув к длительному одиночеству, капитан мог рассуждать с самим собой до тех пор, пока не уставал или, как он признавался себе, не начинал говорить глупостей.

Капитану казалось, что тот, второй, с кем он беседовал, очень неплохой парень, все понимает, добрый, душевный. Лишь изредка капитан грубо прерывал его: «Трепаться-то трепись, но по сторонам не зевай». Этот окрик возникал при малейшем шорохе или при виде лыжни, оттаявшей и черствой.

Но мнение капитана о своем двойнике, душевном и все понимающем парне, несколько расходилось с мнением товарищей. Капитана в отряде считали человеком мало симпатичным. Неразговорчивый, сдержанный, он не располагал и других к дружеской откровенности. Для новичков, впервые отправляющихся в рейд, он не находил ласковых, ободряющих слов, а, наоборот, старался очень ловко запугать их опасностями; тогда красноречие просыпалось в нем.

Перед самым вылетом он иногда высаживал из самолета человека.

— Трус, — кричал он, — мне таких не надо! — и захлопывал дверцы люка.

Возвращаясь после задания, капитан

старался избегать восторженных встреч. Уклоняясь от объятий, он бормотал:

— Побриться бы надо, а то морда, как у ежа, — и поспешно проходил к себе.

О работе в тылу у немцев он не любил рассказывать и ограничивался рапортом начальнику. Отдыхая после задания, валялся на койке, к обеду выходил заспанный, угрюмый.

— Неинтересный человек, — говорили о нем, — скучный.

Одно время распространился слух, оправдывающий его поведение. Будто в первые дни войны его семья была уничтожена немцами. Узнав об этих разговорах, капитан вышел к обеду с письмом в руках. Хлебая суп и держа перед глазами письмо, он сообщил:

— Жена пишет.

Все переглянулись, многие — разочарованно, потому что хотелось верить: капитан потому такой нелюдимый, что его постигло несчастье. А несчастья никакого не было.

А потом капитан не любил скрипки. Звук смычка действовал на него так же, как на иных действует звук лезвия ножа по стеклу.

Голый и мокрый лес. Топкая почва, ямы, заполненные грязной водой, дряблый, болотистый снег. Тоскливо брести по этим одичавшим местам одинокому, усталому, измученному человеку.

Но капитан умышленно выбирал эти дикие места, где встреча с немцами менее вероятна. И чем заброшеннее и забытее глядела земля, тем поступь капитана была увереннее.

Вот только голод начинал мучить. Капитан временами плохо видел. Он останавливался, тер глаза и, когда это не помогало, бил себя кулаком в шерстяной рукавице по скулам, чтобы восстановить кровообращение.

Спускаясь в балку, капитан наклонился к крохотному водопаду, стекающему с ледяной бахромы откоса, и стал пить воду, ощущая тошнотный, пресный вкус талого снега. Но он продолжал пить, хотя ему и не хотелось, пить только для того, чтобы затолкнуть пустоту в тоскующем желудке.

Вечерело. Тошние тени ложились на

тошней и мокрый снег. Стало холодно. Лужи застывали, и лед громко хрустел под ногами. Мокрые ветви обмерзали; когда он отводил их рукой, они звенели. И, как ни пытался капитан итти бесшумно, каждый шаг сопровождался хрустом и звоном.

Взошла луна. Лес засверкал. Бесчисленные сосульки и ледяные лужи, отражая лунный свет, горели холодным огнем, как пилястры на колоннах станции метро «Дворец Советов».

Где-то в этом квадрате должен был находиться радист. Но разве найдешь его сразу, если этот квадрат равен четырем километрам? Вероятно, радист выкопал себе логовище не менее тайное, чем нора у зверя.

Не будет же он ходить и орать в лесу: «Эй, товарищ! Где ты там?»

Капитан шел в чаще, озаренный ярким светом, валенки его от ночного холода стали тяжелыми и твердыми, как каменные тумбы.

Он злился на радиста, которого так трудно разыскать, но еще больше разозлился, если бы радиста удалось обнаружить сразу.

Запнувшись о валежник, погребенный под заскоружлым снегом, капитан упал. И когда с трудом подымался, упираясь руками в снег, за спиной его металлически щелкнул оттянутый ствол пистолета.

— Хальт! — сказали ему тихо. — Хальт!

Но капитан странно вел себя. Не оборачиваясь, он растирал ушибленное колено. Когда, все так же шопотом, ему приказали на немецком языке поднять вверх руки, капитан обернулся и сказал насмешливо:

— Если человек лежит, причем тут «хальт»? Нужно сразу кидаться на меня и бить из пистолета, завернув его в шапку — тогда выстрел будет глухой, тихий. А, кроме того, немец кричит «хальт» громко, чтобы услышал сосед и, в случае чего, пришел на помощь. Учат вас, учат, а толку... — И капитан поднялся. Пароль произнес он одним губами; когда получил отзыв, кивнул головой и, спустив предохранитель, сунул в карман синий «Зауэр».

жекторов копошилось в небе своими негнушимися щупальцами, — но об этом можно было не думать.

После занятий Михайлова часто сидела на диване в гостиной с поджатыми ногами и книгой в руках. Она читала при свете лампы с огромным абажуром, укрепленном на толстой и высокой подставке из красного дерева. Вид этой девушки с красивым, спокойным лицом, ее безмятежная поза, волосы, лежащие на спине, и пальцы ее, узкие и белые, все это не вязалось с техникой подрывного дела или нанесением по тырсе ударов ножом с ручкой, обтянутой резиной, чтобы не скользила рука.

Когда Михайлова замечала капитана, она вскакивала и вытягивалась, как это и полагается при появлении командира.

Жаворонков, небрежно кивнув, проходил мимо. Опять раздражающее негодование появлялось в нем. Этот сильный человек, с красным сухим лицом спортсмена, правда, немного усталым и грустным, был жестоким и требовательным и к себе самому.

Немецкие саперы заминировали проселочные дороги, впадавшие в магистраль. Он застрелил ночью регулировщика из мелкокалиберного пистолета, бьющего почти бесшумно, и, вооружившись фонарем регулировщика, стал на шоссе.

Он пропускал мимо себя машины, сигнала зеленым и красным светом. Когда появилась танковая колонна, он красным огнем преградил ей путь по магистрали и открыл зеленым путь на проселочную, заминированную дорогу.

Обнаружив штабной кабель, он перерезал его, и стал ждать. Связист пришел не один. Его сопровождали солдаты с автоматами. Устранив повреждение, связист ушел. Тогда капитан содрал изоляцию с кабеля и положил его на землю. Расчет оказался верным. Обнаружив плохую слышимость, связист вернулся один. Капитан заколол связиста. Смотав кабель, он бросил его в копну сена и поджег.

Забравшись на перекрытие немецкого блиндажа, он открыл подсумок и

стал горстями сыпать в дымоходную трубу блиндажа патроны. Выскочивших из укрытия немцев он перестрелял из автомата.

Капитан предпочитал действовать в одиночку. Он имел на это право. Холодной болью застыла в сердце капитана смерть его жены и ребенка. Их раздавили в пограничном поселке 22 июня железными лапами немецкие танки.

Капитан стыдился своего горя. Он не хотел, чтобы его несчастье служило причиной его бесстрашия. Поэтому он обманывал своих товарищей. Он сказал себе: жену мою, ребенка не убили, они живы. Я не мелкий человек. Я такой же, как все. Я должен драться спокойно. И он не был мелким человеком. Он презирал смерть. Всю свою жизненную силу он сосредоточил на чувстве мести. Таких людей, с обгаренным сердцем, гордых, скорбящих и сильных, немало на этой войне.

Добрый, веселый, хороший мой народ! Какой же бедой ожесточили твое сердце! И вот сейчас, шагая за ползущей радисткой, капитан старался не размышлять ни о чем, что могло бы помешать ему обдумать свое поведение. Он голоден, слаб, измучен длинным переходом. Конечно, она рассчитывает на его помощь. Но ведь она не знает, что он никуда не годится.

Сказать все? Ну, нет! Лучше заставить ее как-нибудь подтянуться, а там он соберется с силами и, может быть, как-нибудь удастся...

В отвесном скате балки весенние воды промыли нечто вроде ниши. Жесткие корни деревьев свисали над головой, то тощие, как шпагат, то перекрученные и жилистые, похожие на пучки ржавых тросов. Ледяной навес закрывал нишу снаружи. Днем свет проникал сюда, как в остекленную оранжерею. Здесь было чисто, сухо, лежала подстилка из еловых ветвей. Квадратный ящик радики, спальный мешок, лыжи, прислоненные к стене.

— Уютная пещерка, — заметил капитан. И, похлопав рукой по подстилке, сказал: — Садитесь и разувайтесь.

— А пистолетик, все-таки, в руке держали!

Капитан сердито посмотрел на радиста.

— Ты что же думал, только на твою мудрость буду рассчитывать? — И нетерпеливо потребовал: — Давай, показывай, где тут твоё помещение!

— Вы за мной, — сказал радист, стоя на коленях в неестественной позе, — а я поползу.

— Зачем ползти, в лесу спокойно.

— Нога у меня обморожена, — тихо объяснил радист, — болит очень.

Капитан хмыкнул и пошел вслед за ползущим на четвереньках человеком. Еще не задумываясь, он спросил:

— Ты что ж, босиком бегал?

— Болтанка сильная была, когда прыгали. У меня валенок и слетел, еще в воздухе.

— Хорош. — И добавил: — Выбьрайся теперь с тобою отсюда.

Радист сел, опираясь руками о снег, и с обидой в голосе сказал:

— Я, товарищ капитан, и не собираюсь отсюда уходить. Оставьте провиант, и можете отправляться дальше. Когда нога заживет, я и сама доберусь.

— Как же, будут тебе тут санатории устраивать! Запеленговали немцы радицу, понятно? — И вдруг, наклонившись, капитан тревожно спросил: — Постой, фамилия как твоя, лицо что-то знакомое.

— Михайлова.

— Лихо! — пробормотал капитан не то смущенно, не то обиженно. — Ну, ладно, ничего, как-нибудь разберемся. — Потом вежливо осведомился: — Может, вам помочь?

Девушка ничего не ответила. Она ползла, проваливаясь по локти в снег.

Раздражение сменилось у капитана другим чувством, менее определенным, но более беспокойным. Он помнил эту Михайлову у себя на базе, среди курсантов. Она с самого начала вызывала у него чувство неприязни, даже больше — негодования. Он никак не мог понять, зачем она на базе — высокая, красивая, даже очень красивая, с гордо поднятой головой и ярким, боль-

шим и точно очерченным ртом, от которого трудно отвести глаза, когда она говорила.

У нее была неприятная манера смотреть прямо в глаза, неприятная не потому, что видеть такие глаза противно; напротив, большие, внимательные и спокойные, с золотистыми искорками вокруг больших зрачков, они были очень хороши. Но плохо в них то, что пристального взгляда их капитан не выдерживал. И девушка это замечала.

А потом эта манера носить волосы, пышные, блестящие и тоже золотистые, выпустив их на воротник шинели!

Сколько раз говорил ей капитан:

— Подберите ваши космы. Военная форма — это не маскарадный костюм.

Правда, занималась Михайлова старательно: оставаясь после занятий, она часто обращалась к капитану с вопросами довольно толковыми. Но капитан, убежденный в том, что знания ей не пригодятся, отвечал кратко, резко, все время поглядывая на часы.

Начальник курсов сделал замечание капитану за то, что он так мало уделяет внимания Михайловой.

— Ведь она же хорошая девушка.

— Хорошая для семейной жизни, — и неожиданно горячо и страстно капитан заявил: — Поймите, товарищ начальник, нашему брату никаких лишних крючков иметь нельзя. Обстановка может приказать собственноручно ликвидироваться. А она? Разве она сможет? Ведь пожалеет себя! Разве можно себя, такую... — и капитан сбился.

Чтобы отделаться от Михайловой, он перевел ее в группу радисток.

Курсы десантников располагались в одном из подмосковных домов отдыха. Крылатые, остекленные веранды, красные дорожки внутри, яркая лакированная мебель — вся эта обстановка, не потерявшая еще всей прелести мирной жизни, располагала по вечерам к развлечениям. Кто-нибудь садился за рояль, и начинались танцы. И если бы не военная форма, то можно бы подумать, что это обычный подвыходной день в солидном наркоматском подмосковном доме отдыха.

Стучали зенитки, и белое пламя про-

— Что? — гневно и удивленно спросила девушка.

— Разувайтесь. Я должен знать, куда вы годитесь с такой ногой.

— Вы не доктор. И потом...

— Знаете, — сказал капитан, — договоримся с самого начала — меньше разговаривайте.

— Ой, больно!

— Не пищите, — сказал капитан, ощупывая ступню ее, вспухшую и обтянутую глянцевитой синей кожей.

— Да я же не могу больше терпеть.

— Ладно, потерпите, — сказал капитан, стягивая с себя шерстяной шарф.

— Мне не нужно вашего шарфа.

— Вонючий носок лучше?

— Он не вонючий, он чистый.

— Знаете, — снова повторил капитан, — не морочьте вы мне голову. Веревка у вас есть?

— Нет.

Капитан поднял руку, оторвал кусок тонкого корня, перевязал им ногу, обмотав шарфом, и объявил:

— Хорошо держится!

Потом он вытащил лыжи наружу и что-то мастерил там, орудуя ножом с ручкой, обтянутой резиной. Вернулся, взял рацию и сказал:

— Можно ехать.

— Вы хотите тащить меня на лыжах?

— Я этого, положим, не хочу, но приходится.

— Ну что же, у меня другого выхода нет.

— Вот это правильно, — согласился капитан. — Кстати, у вас пожевать что-нибудь найдется?

— Вот, — сказала она и вытащила из кармана поломанный сухарь.

— Маловато.

— Это все, что у меня осталось. Я уже несколько дней...

— Понятно, — сказал капитан, — другие съедают сначала сухари, а шоколад оставляют на черный день.

— Можете оставить ваш шоколад себе.

— А я угощать и не собираюсь, — и капитан вышел, сгибаясь под тяжестью рации.

После часа ходьбы капитан понял, что дела его плохи. И хотя девушка, лежа на лыжах (вернее — на санях, сделанных из лыж), помогала ему, отталкиваясь руками, силы его покинули. Ноги дрожали, а сердце колотилось так, что, казалось, застрявало в глотке.

«Если я ей скажу, что ни к чорту не пожусь, она запаникует. Если дальше буду храбриться, дело кончится совсем скверно».

Капитан посмотрел на часы и сказал:

— Не худо бы выпить горячего.

— У вас есть водка?

— Ладно, — сказал капитан, — сидите. Водки я вам все равно не дам.

Выкопав в снегу яму, он прорыл палкой дымоход и забросал его отверстие зелеными ветвями и снегом. Ветви и снег должны были фильтровать дым, тогда он будет невидимым. Наломав сухих веток, капитан положил их в яму, потом вынул из кармана шелковый мешочек с пушечным полужардом и, насыпав горсть пороха крупной резки на ветви, поднес спичку.

Пламя зашипело, обливав ветви. Поставив на костер банку из-под тола, капитан кидал в нее сосульки и куски льда. Потом он вынул сухарь, завернул его в платок и, положив на пень, стал бить по сухарю черенком ножа. Крошки он высыпал в кипящую воду и стал размешивать. Сняв банку с огня, он поставил ее в снег, чтобы остудить.

— Вкусно? — спросила девушка.

— Почти как кофе «Здоровье», — сказал капитан и протянул ей банку с коричневой жижей.

— Я потерплю, не надо, — сказала девушка.

— Вы у меня еще натерпитеесь, — сказал капитан. — А пока — не морочьте мне голову всякими штучками, пейте.

К вечеру ему удалось убить палкой старого грача.

— Вы будете есть ворону? — спросила девушка.

— Это не ворона, а грач, — сказал капитан.

Он зажарил птицу на костре.

— Хотите? — предложил он половину птицы девушке.

— Ни за что! — с отвращением сказала она.

Капитан поколебался, потом задумчиво произнес:

— Пожалуй, это будет справедливо, — и съел всю птицу.

Закурив, он повеселел и спросил:

— Ну, как нога?

— Мне кажется, я смогла бы пройти немного, — сказала девушка.

— Это вы бросьте!

Всю ночь капитан тащил за собою ямки, и девушка, кажется, дремала.

На рассвете капитан остановился в овраге.

Огромная сосна, вывернутая бурей, лежала на земле. Под мощными корнями оказалась впадина. Капитан выгреб из ямы снег, наломал ветвей и постелил на них плащ-палатку.

— Вы хотите спать? — спросила, проснувшись, девушка.

— Часок, не больше, — сказал капитан. — А то я совсем забыл, как это делается.

Девушка начала выбираться из своего спального мешка.

— Это еще что за номер? — спросил капитан, приподымаясь.

Девушка подошла и сказала:

— Я лягу с вами, так будет теплее. А накроюсь мешком.

— Ну, знаете... — сказал капитан.

— Подвиньтесь, — сказала девушка. — Не хотите же вы, чтобы я легла на снегу... Вам неудобно?

— Подберите ваши волосы, а то они в нос лезут, чихать хочется, и вообще...

— Вы спать хотите, ну, и спите. А волосы вам мои не мешают.

— Мешают, — вяло сказал капитан и заснул.

Шорох тающего снега, стук капель. По снегу, как дым, бродили тени облаков.

Капитан спал, прижав кулак к губам, и лицо у него было усталое, измученное. Девушка наклонилась и осторожно пресунула свою руку под его голову.

С ветви дерева, склоненного над ямой, падали на лицо спящего тяжелые капли воды. Девушка освободила руку и подставила ладонь, защищая лицо

спящего. Когда в ладони скапливалась вода, она осторожно выплескивала ее.

Капитан проснулся, сел и стал тереть лицо ладонями.

— У вас седича здесь, — сказала девушка. — Это после того случая?

— Какого? — спросил капитан, потягиваясь.

— Ну, когда вас расстреливали.

— Не помню, — сказал капитан и зевнул. Ему не хотелось вспоминать про этот случай.

А дело было так. В августе месяце капитан подорвал крупный немецкий склад боеприпасов. Его контузило взрывной волной, обожгло пламенем. Он лежал в тлеющей черной одежде, когда немецкие санитары подобрали его и вместе с пострадавшими немецкими солдатами отнесли в госпиталь. Он пролежал три недели. Перед отправкой в тыл раненых осматривала комиссия. Капитана вместе с группой симулянтов приговорили к расстрелу. Казнь была отменена в последний момент. Их посадили на транспортные самолеты и отправили под Ельню. Здесь их погнали на русских в «психическую» атаку, выставив сзади роту автоматчиков. Капитан был ранен своими же. Его подобрали, и он пролежал еще две недели в нашем госпитале.

Чтобы прекратить этот разговор, он спросил грубо и настойчиво:

— Нога все болит?

— Я же сказала, что могу идти сама, — раздраженно ответила девушка.

— Ладно, садитесь. Когда понадобится, вы у меня еще побегаете.

Капитан впрягся в сани и снова заковылял по талому снегу.

Шел дождь со снегом. Ноги разъезжались. Капитан часто проваливался в выбоины, наполненные мокрой снежной кашей. Было тускло и серо. И капитан с тоской думал о том, удастся ли ему переправиться через реку, вероятно, покрытую уже водой поверх льда.

На дороге лежала убитая лошадь.

Капитан присел возле нее на корточках, вытащив нож с резиновой ручкой

— Знаете, — сказала девушка при подымаясь, — вы все так ловко делаете, что мне даже смотреть не противно

— Просто вы есть хотите, — спокойно ответил капитан.

Он поджаривал тонкие ломтики мяса, насадив их на стержень антенны, как на вертел.

— Вкусно! — удивилась девушка.

— Еще бы, — сказал капитан, — жареная конина вкуснее говядины.

Потом он поднялся и сказал:

— Я пойду посмотрю, что там. А вы оставайтесь.

— Хорошо, — согласилась девушка. — Может, это вам покажется смешным, но одной мне оставаться теперь очень трудно. Я уж как-то привыкла быть вместе.

— Ну-ну! Без глупостей, — сказал капитан.

Но это больше относилось к нему самому, потому что он смутился.

Вернулся он ночью.

Девушка сидела на санях, держа пистолет на коленях. Увидев его, она улыбнулась и встала.

— Садитесь, садитесь, — попросил капитан тоном, каким говорил курсантам, встававшим при его появлении. Он закурил и сказал, недоверчиво глядя на девушку:

— Штука-то какая. Немцы недалеко отсюда аэродром оборудовали.

— Ну и что? — спросила девушка.

— Ничего, — сказал капитан, — ловко очень устроили. — Потом серьезно спросил: — У вас передатчик работает?

— Вы хотите связаться? — обрадовалась девушка.

— Точно, — согласился капитан.

Михайлова сняла шапку, надела наушники. Через несколько минут она спросила, что передавать. Капитан присел рядом с ней. Стукнув кулаком по ладони, он сказал:

— Одним словом, так: карта раскисла от воды. Квадрат расположения аэродрома определить не могу. Даю координаты по компасу. Ввиду низкой облачности линейные ориентиры будут скрыты. Поэтому пеленгом будет служить наша рация на волне... Какая там у вас волна, сообщите.

Девушка сняла наушники и с сияющим лицом повернулась к капитану.

Но капитан, сворачивая новую цы-

гарку, даже не поднял на нее глаза.

— Теперь вот что, — сказал он глухо. — Приемник я забираю и иду туда, — он махнул рукой и пояснил: — чтобы быть ближе к цели. А вам придется добираться своими средствами. Как стемнеет окончательно, спуститесь к реке. Лед тонкий, захватите какую-нибудь жердь. Если провалитесь, она поможет. Потом доползете до Машиновки, километра три, там вас встретят.

— Очень хорошо, — сказала Михайлова. — Только рацию вы не получите.

— Ну, ну, — сказал капитан, — это вы бросьте.

— Я отвечаю за рацию и при ней остаюсь.

— В виде бесплатного приложения, — буркнул капитан. И, разозлившись, громко произнес: — А я вам приказываю.

— Знаете, капитан, любой ваш приказ будет выполнен. Но рацию отобрать вы у меня не имеете права.

— Да поймите же вы, — вспыхнул капитан.

— Я понимаю, — спокойно сказала Михайлова. — Это задание касается только меня одной. — И, гневно глядя в глаза капитану, она сказала: — Вот вы горячитесь и лезете не в свое дело.

Капитан резко повернулся к Михайловой. Он хотел сказать что-то очень обидное, грубое, но превозмог себя и с усилием произнес:

— Ладно, валайте, действуйте, — и, очевидно, чтобы как-нибудь отомстить за обиду, сказал: — Сама додуматься не могла, так теперь вот...

Михайлова насмешливо сказала:

— Я вам очень благодарна, капитан, за идею.

Капитан отогнул рукав, взглянул на часы.

— Чего же вы сидите, время не ждет.

Михайлова взялась за лямки, сделала несколько шагов, потом обернулась.

— До свидания, капитан!

— Валите, валите, — буркнул тот и пошел к реке.

Туманная мгла застилала землю, в

воздухе пахло сыростью, и всюду слышались шорохи воды, не застывшей и ночью. Умирать в такую погоду особенно неприятно. Впрочем, нет на свете погоды, при которой бы это было приятно.

И вот, если бы Михайлова прочла три месяца назад рассказ, в котором герои переживали подобные приключения, в ее красивых глазах, наверняка, появилось бы мечтательное выражение; свернувшись калачиком под байковым одеялом, она представляла бы себя на месте героини; только в конце, в отместку за все, она непременно спасла бы этого надменного героя. А потом он влюбился бы в нее, а она не обращала бы на него внимания.

В тот вечер, когда она сказала отцу о своем решении, она не знала о том, что эта работа требует нечеловеческого напряжения сил, что нужно уметь спать в грязи, голодать, мерзнуть, уметь токовать в одиночестве. И если бы ей кто-нибудь обстоятельно и подробно рассказал о том, как это трудно, она спросила бы просто:

— Но ведь другие могут?

— А если вас убьют?

— Не всех же убивают.

— А если вас будут мучить?

Она задумалась бы и тихо сказала:

— Я не знаю, как я себя буду держать. Но ведь я все равно ничего не кажу. Вы это знаете.

И когда отец узнал, он опустил голову и проговорил хриплым, незнакомым ей голосом:

— Нам теперь с матерью будет очень тяжело, очень.

— Папа, — звонко сказала она, — апа, ну, ты пойми, я же не могу оправдаться!

Отец поднял лицо, и она испугалась. Гамак оно было измученным и старым.

— Я понимаю, — сказал отец, — ну, что же, было бы хуже, если бы у меня была не такая дочь.

— Папа, — крикнула тогда она, — папа, ты такой хороший, что я сейчас заплачу!

Матери они утром сказали, что она поступает на курсы военных телефонинок.

Мать побледнела, но сдержалась и только попросила:

— Будь осторожнее, деточка.

На курсах Михайлова училась старательно и во время проверки знаний волновалась, как в школе на зачетах, и была очень счастлива, когда в приказе отметили не только количество знаков передачи, но и ее грамотность. Но капитан был прав. Оставшись одна в лесу, в эти дикие, холодные и черные ночи, она в первые дни плакала и съела весь шоколад. Но передачи вела регулярно и, хотя ей ужасно хотелось иногда прибавить что-нибудь от себя, чтобы не было так сиротливо, она не делала этого, экономя электроэнергию.

И вот сейчас, пробираясь к аэродрому, она удивлялась, как все это просто. Вот она ползет по мокрому снегу, мокрая, с отмороженной ногой. А когда раньше у ней бывал грипп, отец сидел у постели и читал вслух, чтобы она не утомляла своих глаз. А мать с озабоченным лицом согревала в ладонях термометр, так как ее дочь не любила класть его подмышку холодным. И когда звонили по телефону, мать шопотом расстроено говорила: «Она больна». А отец укутывал звонок телефона в бумажку, чтобы его звук не тревожил дочь. А вот, если немцы успеют быстро запеленговать станцию, Михайлову убьют.

Убьют ее, такую хорошую, красивую, добрую и, может быть, талантливую. И будет лежать она в мокром, противном снегу. А ведь на ней меховой комбинезон. Немцы, наверное, дерут его. И она ужасалась, представляя себя голой, в грязи. И на нее, голую, будут смотреть солдаты отвратительными глазами.

А этот лес так похож на рошу в Кратове, где она жила на даче. Там были такие же деревья. И когда жила в пионерском лагере, там были такие же деревья. И гамак был подвязан вот к таким же двум соснам-близнецам.

И когда Димка вырезал ее имя на коре березы, такой же, как вот эта, она рассердилась на него, зачем он покалечил дерево, и не разговаривала с ним. А он ходил за ней и смотрел на

нее печальными и поэтому красивыми глазами. А потом, когда они помирились, он сказал, что хочет поцеловать ее. Она закрыла глаза и жалобно сказала: «Только не в губы». А он так волновался, что поцеловал ее в подбородок.

Она очень любила красивые платья. И когда однажды ее послали делать доклад, она надела самое нарядное платье. Ребята спросили: «Ты чего так расфуфырилась?»

— Подумаешь, — сказала она, — почему мне не быть красивой докладчицей?

И вот она ползет по земле, грязная, мокрая, озираясь, прислушиваясь, и волочит обмороженную, вспухшую ногу.

«Ну, убьют. Ну, и что ж! Ведь убили же Димку и других, хороших, убили. Ну, и меня убьют. Я хуже их, что ли?»

Шел снег, хлюпали лужи. Гнилой снег лежал дохлыми кучами в оврагах. А она все ползла и ползла. Отдыхая, она лежала на мокрой земле, положив голову на согнутую руку. Не было сил стползти на сухое место.

И снова ползла — с упорством раненого, который ползет к пункту медпомощи, чтобы там остановили кровь, дали пить, где он найдет блаженный покой и другие будут заботиться о нем.

Влажный туман стал черным, потому что ночь была черная. И где-то в небе плыли огромные корабли. Штурман командирского корабля, откинувшись в кресле, полузакрыв глаза, вслушивался в шорохи и свист в мегафонах — но сигналов радики не было.

Пилоты, сидя на своих сиденьях, и стрелок-радист тоже вслушивались в свист и визг мегафонов, но сигналов не было. Пропеллеры буравили черное небо. Корабли плыли все вперед и вперед во мраке ночного неба, а сигналов не было.

И вдруг тихо, осторожно прозвучали первые позывные. Огромные корабли, держась за эту тонкую паутинку звука, разворачивались; ревушие и тяжелые, они помчались в тучах. Родной, как песня сверчка, как звон сухого колоса

на степном ветру, как шорох сухого осеннего листа, этот звук стал поводом огромных стальных кораблей.

Командир соединения кораблей, пилоты, стрелки-радисты, бортмеханики — и Михайлова тоже — знали: бомбы будут сброшены туда, куда указывает этот родной, призывной клич радики. Потому что здесь — самолеты врага.

Михайлова стояла на коленях в яме, в черной тинистой воде и, наклонившись к радики, стучала ключом. Тяжелое небо висело над головой. Но оно было пустым и безмолвным. В мягкой тине обмороженная нога онемела, боль была в спине, в висках, тискала голову горячим обручем. Михайлову знобило. Когда она подносила руку к губам, они были горячие и сухие. — «Простудилась, — тоскливо подумала она. — Впрочем, теперь это неважно».

Иногда ей казалось, что она теряет сознание. Она открывала глаза и испуганно вслушивалась. В наушниках звонко и четко пели сигналы. Значит, рука ее помимо воли нажимала рычаг ключа. «Какая дисциплинированная! Вот и хорошо, что я пошла, а не капитан. Разве у него рука будет сама работать? А если бы я не пошла, то была бы сейчас в Малиновке и, может, мне дали бы полшубок... там горит печь... и все было бы иначе. А теперь уже больше никогда ничего не будет... Странно, вот я лежу и думаю. А ведь где-то Москва. Там люди, много людей. И никто не знает, что я здесь. Все-таки, я молодец. Может быть, я храбрая? Пожалуй, мне не страшно. Нет, это оттого, что мне больно — потому и не так страшно... Скорее бы только. Ну, что они, в самом деле? Неужели не понимают, что я больше не могу?»

Всхлипнув, она легла на откос котлована и, повернувшись на бок, продолжала стучать. Теперь ей стало видно огромное, тяжелое небо. Вот его лизнули прожекторы, послышалось далекое тяжелое дыхание кораблей. И Михайлова, глотая слезы, прошептала:

— Милые, хорошие. Наконец-то вы за мной прилетели. Мне так плохо здесь. — И вдруг испугалась. — Что, если вместо позывных я передала вот

эти свои слова? Что же они тогда про меня подумают?

Она села и стала стучать раздельно, четко, повторяя вслух шифр, чтобы снова не сбиться. Гудение кораблей все приближалось.

Застучали зенитки.

— Ага, не нравится?

Она поднялась. Ни боли, ничего. Изю всех сил она стучала по ключу, словно не сигналы, а крик «Бейте, бейте!» высекала из ключа.

Рассекая черный воздух, ахнула первая бомба. Михайлова упала на спину от удара воздуха. Оранжевые пятна отраженного пламени заплескались в лужах. Земля сотрясалась от глухих ударов. Рация свалилась в воду. Михайлова пыталась поднять ее. Визжащие бомбы, казалось, летели прямо к ней, в яму.

Она вобрала голову в плечи и присела, зажмурив глаза. Свет от пламени проникал сквозь веки. Дуновением разрыва в яму бросило колья, опутанные колючей проволокой. В промежутках между разрывами бомб на аэродроме что-то глухо лопалось и трещало. Черный туман воиял бензиновым чадом.

Потом наступила тишина, замолкли зенитки.

— Конечно, — с тоской подумала она. — Теперь я снова одна.

Она пыталась подняться, но ее ноги... она их не чувствовала совсем. Что случилось? Потом она вспомнила. Это бывает. Ноги отнимаются. Она контужена. Вот и все. Она легла щекой на мокрую глину, немножко отдохнуть. Хоть бы одна бомба упала сюда! Как все было бы просто. И она не узнала бы самого страшного.

— Нет, — вдруг сказала она. — С другими было хуже, и все-таки уходила. Ничего плохого не должно случиться со мной. Я не хочу этого.

Где-то ворчал автомобильный мотор и белые, холодные лучи несколько раз скользнули по черному кустарнику, потом прозвучал взрыв, более слабый, чем разрыв бомбы, и совсем близко — выстрелы.

— Ищут. А лежать так хорошо. Неужели и этого больше не будет?

Она хотела повернуться на спину, но боль в ноге горячим потоком ударила в сердце. Она вскрикнула, попыталась встать и упала.

Холодные твердые пальцы дергали застежку ее ворота.

Она открыла глаза.

— Это вы? Вы за мной пришли? — сказала Михайлова и заплакала.

Капитан вытер ладонью ее лицо, и она снова закрыла глаза. Итти она не могла. Капитан ухватил ее рукой за пояс комбинезона и вытащил наверх. Другая рука у капитана болталась, как тряпичная.

Она слышала, как сипели полозья саней по грязи.

Потом она увидела капитана. Он сидел на пне и, держа один конец ремня в зубах, перетягивал свою голую руку, и из-под ремня сочилась кровь. Подняв на Михайлову глаза, капитан спросил:

— Ну, как?

— Никак, — прошептала она.

— Все равно, — сквозь зубы сказал капитан, — я больше никуда не гожусь. Сил нет. Попробуйте добраться, тут немного осталось.

— А вы?

— А я здесь немного отдохну.

Капитан хотел подняться, но как-то застенчиво улыбнулся и свалился с пня на землю. Он был очень тяжел, и она долго мучилась, пока втащила его бессильное тело на сани. Он лежал неудобно, лицом вниз. Перевернуть его на спину она уже не могла.

Она долго дергала постромки, чтобы сдвинуть сани с места. Каждый шаг причинял нестерпимую боль. Но она упорно дергала за постромки и, пятясь, тащила сани по раскисшей, мокрой земле.

Она ничего не понимала? Как это может еще продолжаться? Почему она стоит, а не лежит на земле, обессиленная? Прислонившись спиной к дереву, она стояла с закрытыми глазами и боялась упасть, потому что тогда ей уже не подняться.

Она видела, как капитан сполз на землю, положил грудь и голову на са-

ни и, держась за перекладину здоровой рукой, сказал шопотом:

— Так вам будет легче.

Он полз на коленях, полуповиснув на санях. Иногда он срывался, ударяясь лицом о землю. Тогда она подсовывала ему под грудь сани, и у нее не было сил отвернуться, чтобы не глядеть на его почерневшее, разбитое лицо.

Потом она упала и снова слышала сипение грязи под полозьями. Потом услышала треск льда. Она задыхалась, захлебывалась, вода смыкалась над ней. И ей казалось, что все это во сне.

Открыла она глаза потому, что почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Капитан сидел на нарах, худой, желтый, с грязной бородой, с рукою, подвешенной к груди и зажатой между двумя грязными обломками доски, и смотрел на нее.

— Проснулись? — спросил он незнакомым голосом.

— Я не спала.

— Все равно, — сказал он, — это тоже вроде сна.

Она подняла свою руку и увидела, что рука голая.

— Это я сама разделась? — спросила она жалобно.

— Это я вас раздел, — сказал капитан. — И, перебирая пальцы на раненой руке, объяснил: — Мы же с вами вроде как в реке выкупались, а потом я думал, что вы ранены.

— Все равно, — сказала она тихо и посмотрела капитану в глаза.

— Конечно, — согласился он.

Она улыбнулась и сказала:

— Я знала, что вы вернетесь за мной.

— Это почему же? — усмехнулся капитан.

— Так, знала.

— Глупости, — сказал капитан, — ничего вы не могли знать. Вы были ориентиром во время бомбежки, и вас могли пристукнуть. На такой аварий-

ный случай я разыскал стог сена, чтобы продолжать сигнализировать огнем. А, вторых, вас запеленговал броневичок с радиустановкой. Он там всю местность прочесал, пока я ему гранату не сунул. А в-третьих...

— Что в-третьих? — звонко спросила Михайлова.

— А в-третьих, — серьезно сказал капитан, — вы очень подходящая девушка, — и тут же резко добавил: — И вообще, где это вы слышали, чтоб кто-нибудь поступал иначе?

Михайлова села и, придерживая на груди ворох одежды, глядя сияющими глазами в глаза капитану, громко и раздельно сказала:

— А знаете, я вас, кажется, очень люблю.

Капитан отвернулся. У него побагровели уши.

— Ну, это вы бросьте.

— Я вас не так, я вас просто так люблю, — гордо сказала Михайлова.

Капитан поднял глаза и, глядя исподлобья, задумчиво сказал:

— Ну уж если так, тогда другое дело.

Когда капитан вернулся из госпиталя в свою часть, товарищи не узнали его. Такой он был веселый, возбужденный, разговорчивый. Громко смеялся, шутил, для каждого у него нашлось приветливое слово. И все время искал кого-то глазами. Товарищи, заметив это, догадались и сказали, будто невзначай:

— А Михайлова снова на задании.

На лице капитана на секунду появилась горькая морщинка и тут же исчезла. Он громко сказал, не глядя ни на кого:

— Подходящая девушка, ничего не скажешь, — и, одернув гимнастерку, пошел в кабинет начальника доложить о своем возвращении.

Западный фронт, апрель.

СЫН ОТЕЧЕСТВА

С. ВАРШАВСКИЙ, Б. РЕСТ

Повесть

Памяти героя Великой Отечественной войны
капитана Арсения Васильевича Шубикова

★

1. ИСПАНСКАЯ ПОСАДКА

Нестерпимо пекло горячее июльское солнце. Его раскаленная масса задела в зените, и, только прикрыв ладонью глаза, майор Павлов мог следить за стремительными зигзагами легкой истребительной машины, кувыркавшейся в дрожащем от зноя голубом воздухе. Стоя на земле посредине этого огромного летного поля, майор, казалось, видел в безбрежной небесной шире только маленькую верткую точку, порой теряющуюся в солнечных нитях. Но внутренняя сторона пустой папиросной коробки в руках у Павлова заполнялась все новыми значками — торопливыми карандашными пометками майор оценивал каждый вираж, каждый боевой разворот, каждую фигуру, рисунок которой он отчетливо различал глазами мастера.

Летчик выполнял задание майора. Все, что он делал в воздухе, было точно предусмотрено инструкциями и наставлениями по производству тренировочных полетов, и столбик пятерок на карте папиросной коробки все удлинялся и удлинялся. Душа майора радовалась: там, в воздухе, сухие параграфы наставлений, строго соблюдаемые летчиком, становились вдохновенным творчеством и, ни разу не нарушенные, приобретали черты неповторимого и индивидуально-го своеобразия.

Наконец, самолет стал заходить на посадку.

— Тыфу ты, чорт! — обиженно выругался майор и, скомкав папиросную коробку, в сердцах далеко отшвырнул ее на траву.

Здрав хвост, снизившаяся на большой скорости машина ткнулась колесами в землю. Досадливая гримаса переделнула лицо майора. Самолет подпрыгнул, и только затем летчик произвел нормальное досаживание.

— Опять эта испанская посадка!

В те времена в памяти у всех были свежи воздушные бои над Испанией, когда республиканские летчики в непрерывных схватках с германскими и итальянскими фашистами отстаивали честь и независимость свободолобивой страны. Из уст в уста передавались рассказы о том, как под Мадридом и в Каталонии несколько героев держали порой целые фронты. Воздушные сражения следовали одно за другим. После жаркой битвы, когда нервы напряжены до предела, когда горячее на исходе, когда торопишься приземлиться, чтобы поскорее — через какие-нибудь полчаса — вновь подняться в воздух и продолжить бой, — разве в такую минуту, идя на посадку, будешь думать о том, достаточно ли точен твой расчет и не грозит ли тебе неправильное приземление каким-нибудь неприятным сюрпризом? Эта стремительная посадка разгоряченного боем республиканского летчика, когда машина на огромной скорости, с заданным вверх хвостом, тыкается колесами о неровный

грунт полевого аэродрома, и получила на языке нашего поколения название «испанской посадки». Ее-то и усвоил черноморский истребитель капитан Шубиков.

Капитан Шубиков был назначен командиром эскадрильи в полк майора Павлова после того, как правительство наградило его за выполнение специальных заданий двумя орденами — орденом Красного Знамени и орденом Красной Звезды. В полку, где молодежь, еще не имевшая случая понюхать пороха, практиковалась в учебных воздушных боях и в стрельбе по конусу, с естественным любопытством ожидали приезда летчика, который уже дрался с врагом. Было известно, что Шубиков неоднократно гонял «мессершмитты» и «юнкерсы», «фиаты» и «капрони», знакомые летному составу полка только по силуэтам, хранившимся в штабных шкафах.

Когда командиру полка доложили о прибытии Шубикова, Павлов, поднявшись навстречу героическому капитану, с удивлением увидел перед собой худенького, чуть сутулящегося, хрупкого на вид молодого человека. На кителе не было орденов, и Павлов быстро перевел взгляд на нашивки. Потускневшее золото нарукавных шевронов подтвердило, что этот русский, голубоглазый юнец действительно капитан.

Первое знакомство состоялось. Но с летчиком знакомятся не на земле, а в воздухе. На следующее утро майор занял место позади Шубикова на тренировочной машине и пошел с ним по кругу. Низкий боевой разворот сразу же после взлета заставил Павлова насторожиться. С каждой минутой Павлову становилось все яснее и яснее, что ни малейшего понятия о координации движений сидящий перед ним летчик не имеет. Когда же Шубиков ринулся на посадку и машина с задранными вверх хвостом запрыгала по земле, командир полка понял, что неприятный разговор с новым командиром эскадрильи абсолютно неизбежен.

Нельзя нанести пилоту большей обиды, чем сказав ему: ты плохо летишь.

Но как сказать это опытному летчику, орденоносцу и даже дважды орденоносцу, который — в отличие от тебя — *провел не один победный бой с врагами и имеет заслуженную славу неустранимого воздушного бойца?* Захочет ли он понять, что с каждым годом, месяцем, днем растут требования, совершенствуется техника и новые задачи возникают перед ним, теперь уже не рядовым летчиком, а командиром подразделения, воспитателем боевого коллектива?

Майор первым спустился на землю и отстегнул парашют. Он подождал Шубикова и, идя рядом с ним по дороге к штабу, осторожно, нащупывая слова, говорил:

— Спасибо, товарищ Шубиков, прокатили вы меня на славу. Если спросите об оценке, скажу: по первому полету судить, конечно, трудно, но техника пилотирования у вас показалась мне несколько... своеобразной и очень уж... индивидуальной. Это может затруднить вам работу с молодыми летчиками: стоит показать им полет вроде того, какой мы сейчас с вами совершили, и происшествий в эскадрилье не оберешься. Так вы уж, пожалуйста, смотрите, чтобы этого не было. Вы теперь не только летчик, но и командир эскадрильи. Извольте производить полеты только согласно инструкции и наставлению. Ясно, товарищ Шубиков?

Шубиков молчал.

«Обиделся?» — подумал было майор, но, не желая снижать приказной интонации своих последних слов, повторил намеренно резко, вынуждая на ответ:

— Ясно, товарищ капитан?

— Ясно, товарищ майор, — тихо ответил Шубиков и вскинул на Павлова голубые, по-детски серьезные глаза.

Майор Павлов знал, что по технике пилотирования Шубиков не уступает другим командирам эскадрильи, а по усложненным, слепым полетам занимает первое место. И лишь от «испанской посадки» никак не мог отвыкнуть этот достигший высокого совершенства летчик, вылезший только-что из машины и со смущенной улыбкой подошедший к Павлову. Майор

не глядя на Шубикова, спокойно нагнулся, поднял с земли скомканную папиросную коробку и, жирным крестом перечеркнув столбик пятерок, вывел маленькую двойку...

Полеты продолжались. Летали летчики эскадрильи капитана Шубикова, и два командира, стоя посередине аэродрома, заслонив ладонями глаза от все еще слепящих солнечных лучей, руководили боевой тренировкой молодежи.

Постепенно тени стали удлиняться, солнце медленно клонилось к западу, полеты приходили к концу.

— Все, — сказал, наконец, майор, взглянув на часы. — Для выходного дня как будто и достаточно.

Гладко выбритая голова майора от резкой крутизны широкого лба до самого затылка была покрыта каплями пота, стекавшими тоненькими струйками по темным от загара щекам.

— Полетам — конец, происшествий не предвидится... Командир полка приглашает вас, Арсений Васильевич, окунуться в морские хляби.

— Есть, Наум Захарович! Только захвачу полотенце...

Если нестерпимо жарко было на аэродроме, то здесь, на узеньких улочках маленького курортного городка, дышать совсем уже было нечем.

— Удивляюсь, как это люди живут тут? — говорил майор шагавшему подле него Шубикову. — Что тут хорошего? Солнце. Жарко. До пляжа далеко... На старости лет выйду в отставку и — на Урал, в лес! Батяка у меня лесник, и я в лесники уйду. Твердо решил. Сколочу домик в чаще, в прохладе жить буду... Тишина... Покой... Птички поют... А главное — никаких моторов... В домике всенепременно заведу комнату для приезжающих. Всех друзей распишу по месяцам — когда кому отпуск брать и приезжать ко мне охотиться. Возьмешь ты, Арсений Васильевич, «У-2» и разыщешь под дубами или под соснами бывшего командира полка истребительной авиации, а ныне потомственного лесничего Наума Павлова. А я к тому времени уж и посадочную площадку на прогалине

подготавливаю... Влезу я на дерево, погляжу — кто это ко мне жалуется? Батюшки-светы, сам Арсений Васильевич, генерал-майор авиации! Только ты смотри — как-нибудь без «испанской посадки»... Не огорчай старого лесника!

Майор долго еще развивал планы своей будущей идиллической жизни в лесной глуши, и Шубиков, сам страстный охотник, любивший с ружьем за спиной пускаться в долгие странствия по одному ему ведомым звериным тропам, легко поддавался этой мечтательной словесной игре. Но оба друга понимали, что это только игра. Как бы ни тосковали два русских летчика по родному северному лесу, как бы ни кляли два черноморских летчика скрипящую на зубах горячую степную пыль и эту выжженную солнцем равнину от горизонта до горизонта, — здесь, а не там, стоит флот, в котором они служат, расположен аэродром, с которого поднимаются их машины, здесь, а не там, из года в год встречают они новых друзей и вместе готовят себя к будущим боям.

...Хорошо после аэродромного солнцепека лежать, закрыв глаза, у самого синего моря. Так редко, ведь, выдается счастливая возможность к концу дня вырваться на пляж, скинуть рабочий китель или комбинезон и растянуться на зыбком песчаном ложе.

Павлов и Шубиков, закрыв глаза и оттягивая минуту блаженного купанья, все еще лежали на берегу, когда услышали приближающийся рокот моторов. Они приподнялись на локтях и, как все на пляже, повернули головы туда, откуда можно было ожидать появления какого-то крупного и, судя по гулу, многомоторного самолета. И вот из-за высокого здания знаменитого на всю страну санатория, отчетливо выделяясь на фоне огромного медленно плывущего в море багряного облака, показалась невиданная машина. Летчики переглянулись: что за чудовище? Такого они сроду не видывали!

Но тут произошло нечто совсем невероятное: сумасшедшая машина распалась на части! Теперь все на том же багряном фоне и Павлов, и Шубиков

ясно различали издавна знакомый им силуэт тяжелого бомбардировщика и рядом с ним, чуть ниже, отваливающие в разные стороны две истребительные машины, такие же, какие были у всех летчиков полка.

— Наваждение какое-то! — растерянно сказал Павлов. — Как ты думаешь, Арсений Васильевич, — это было или не было?

— Вроде как было, — так же растерянно ответил Шубиков. — Цирк!

Оба истребителя, а за ними и бомбардировщик уже ушли в сторону аэродрома, видимо, на посадку. Публика на пляже постепенно успокоилась: одни решили, что все это им только померещилось, другие — что так и должно быть. На песчаном морском берегу попрежнему звенел смех и вертелась патефонная пластинка, и лишь два черноморских летчика, так и не успевшие выкупаться, торопливо одевшись, пробирались к выходу, не обращая внимания на колющий ноги песок, набившийся под парусину туфель.

2. «ПОДВЕСКА»

Месяца за два до описанных нами событий в штаб полка доставили пакет, накрест прошитый суровой ниткой и опечатанный пятью выпуклыми коричневыми печатями. Шубиков был на аэродроме, и его срочно вызвали в штаб.

— Прочтите, — сказал Павлов, протягивая капитану только-что полученную бумагу. — Немедленно сообщите обоим...

Шубиков просмотрел краткий текст предписания.

— Есть, сейчас же передам. Причины не знаете, товарищ майор?

— Даже не догадываюсь...

— Разрешите итти?

— Пожалуйста.

В ожидании командира эскадрильи летчики лежали на зеленой, еще не успевшей сгореть траве, среди ромашек и колокольчиков, и весело болтали о том и о сем, о вчерашних полетах и о любимых девушках, о случаях из недавней школьной жизни и о спектаклях москов-

ской оперетты, начавшей гастроли в курзале.

— Вот бы в Москву съездить, — мечтательно произнес лейтенант Рыжов, пожевывая длинную, чуть кислую травинку. — Сельскохозяйственная выставка, парк культуры и отдыха, канал...

— А что? — перебил товарища лейтенант Литвинчук. — Отпуск получу, сундучок на плечи и обязательно в Москву...

— Кто это тут в Москву собрался? — спросил Шубиков, подходя.

— Да вот Литвинчук с Рыжовым, — засмеялись летчики, вставая при появлении командира.

— Значит, в Москву собрался? — переспросил Шубиков. — Ладно, сегодня поедете. Литера получите в штабе.

Литвинчук и Рыжов, двинувшиеся, было, к своим машинам, в нерешительности остановились — слова командира прозвучали подозрительно серьезно. Заметив растерянность лейтенантов, Шубиков кивнул им утвердительно головой и молча указал рукой в сторону штаба.

Только через сорок восемь часов на одном из подмосковных аэродромов, сидя в просторной комнате, увешанной таинственными чертежами и уставленной моделями известных и неизвестных аэропланов, узнали два молодых черноморских летчика, зачем их вызвал в Москву начальник морской авиации Литвинчука и Рыжова встретил здесь богатырского роста человек лет пятидесяти с орденом Красной Звезды на серой гимнастерке военного образца, в синих галифе с голубыми кантами. Летчики представились. Человек в серой гимнастерке назвал себя. Его фамилия была знакома друзьям — перед ними стоял талантливый конструктор, широко известный в авиационных кругах.

Отмокнув сейф, конструктор вынул толстую папку, перелистал какие-то бумаги и, найдя среди них большой фотоснимок, положил его на стол перед летчиками. На фотографии они увидели тяжелый бомбардировщик, под плоскости которого были подвешены два ис-

ясно различали издавна знакомый им силуэт тяжелого бомбардировщика и рядом с ним, чуть ниже, отваливающие в разные стороны две истребительные машины, такие же, какие были у всех летчиков полка.

— Наваждение какое-то! — растерянно сказал Павлов. — Как ты думаешь, Арсений Васильевич, — это было или не было?

— Вроде как было, — так же растерянно ответил Шубиков. — Цирк!

Оба истребителя, а за ними и бомбардировщик уже ушли в сторону аэродрома, видимо, на посадку. Публика на пляже постепенно успокоилась: одни решили, что все это им только померещилось, другие — что так и должно быть. На песчаном морском берегу попрежнему звенел смех и вертелась патефонная пластинка, и лишь два черноморских летчика, так и не успевшие выкупаться, торопливо одевшись, пробирались к выходу, не обращая внимания на колющий ноги песок, набившийся под парусину туфель.

2. «ПОДВЕСКА»

Месяца за два до описанных нами событий в штаб полка доставили пакет, накрест прошитый суровой ниткой и опечатанный пятью выпуклыми коричневыми печатями. Шубиков был на аэродроме, и его срочно вызвали в штаб.

— Прочтите, — сказал Павлов, протягивая капитану только-что полученную бумагу. — Немедленно сообщите обоим...

Шубиков просмотрел краткий текст предписания.

— Есть, сейчас же передам. Причины не знаете, товарищ майор?

— Даже не догадываюсь...

— Разрешите итти?

— Пожалуйста.

В ожидании командира эскадрильи летчики лежали на зеленой, еще не успевшей сгореть траве, среди ромашек и колокольчиков, и весело болтали о том и о сем, о вчерашних полетах и о любимых девушках, о случаях из недавней школьной жизни и о спектаклях москов-

ской оперетты, начавшей гастрولي в курзале.

— Вот бы в Москву съездить, — мечтательно произнес лейтенант Рыжов, пожевывая длинную, чуть кислотоватую травинку. — Сельскохозяйственная выставка, парк культуры и отдыха, канал...

— А что? — перебил товарища лейтенант Литвинчук. — Отпуск получу, сундучок на плечи и обязательно в Москву...

— Кто это тут в Москву собрался? — спросил Шубиков, подходя.

— Да вот Литвинчук с Рыжовым, — засмеялись летчики, вставая при появлении командира. —

— Значит, в Москву собрались? — переспросил Шубиков. — Ладно, сегодня поедете. Литера получите в штабе.

Литвинчук и Рыжов, двинувшиеся, было, к своим машинам, в нерешительности остановились — слова командира прозвучали подозрительно серьезно. Заметив растерянность лейтенантов, Шубиков кивнул им утвердительно головой и молча указал рукой в сторону штаба.

Только через сорок восемь часов на одном из подмосковных аэродромов, сидя в просторной комнате, увешанной таинственными чертежами и уставленной моделями известных и неизвестных аэропланов, узнали два молодых черноморских летчика, зачем их вызвал в Москву начальник морской авиации. Литвинчука и Рыжова встретил здесь богатырского роста человек лет пятидесяти с орденом Красной Звезды на серой гимнастерке военного образца, в синих галифе с голубыми кантами. Летчики представились. Человек в серой гимнастерке назвал себя. Его фамилия была знакома друзьям — перед ними стоял талантливый конструктор, широко известный в авиационных кругах.

Отомкнув сейф, конструктор вынул толстую папку, перелистал какие-то бумаги и, найдя среди них большой снимок, положил его на стол перед летчиками. На фотографии они увидели тяжелый бомбардировщик, под плоскости которого были подвешены два ист-

ребителя. Уже одно это казалось необычайным. Но, внимательно рассмотрев снимок, Литвинчук и Рыжов заметили, что к маленьким истребителям подвешены тяжелые бомбы, которые под силу поднять только бомбардировщику. И это странное сооружение, по уверениям конструктора, способно оторваться от земли и держаться в воздухе! Больше того, демонстрируя бесчисленные хитрые чертежи и таблицы, конструктор уверял, что по его расчетам три скрепленные между собой машины могут не только совершать совместный полет, но и в состоянии отцепиться друг от друга в воздухе и продолжать полет самостоятельно — истребители сами по себе, бомбардировщик — сам по себе.

— Понятно, товарищи? — заключил автор проекта, складывая по сгибам широкие листы ватмана и калек. — Правильность моих расчетов теоретически вполне доказана. Ваша задача — доказать ее практически. Завтра утром начнем испытания.

В свое время английские авиационные журналы поместили фотографии и описания испытываемых для перевозки почты в Америку двух специально построенных, скрепленных между собой гидропланов — крупного самолета, который несет на себе меньший. В наших исследовательских институтах с интересом просмотрели номера этих журналов: опыты дальнего транспортирования легких машин тяжелыми воздушными кораблями, рассчитанными на большую грузоподъемность, задолго до того получили применение в Советском Союзе.

Англичане шли по пути, который был уже знаком русским конструкторам и, как доказали испытания, серьезных практических перспектив не открывал. Однако проблема заслуживала кропотливой и настойчивой работы: любое искание в области авиации, каждая новинка в самолетостроении в конечном счете служит росту обороноспособности и военной мощи государства. Человек в серой гимнастерке, познакомивший Литвинчука и Рыжова со своими чертежами и встретивший на другой день летчиков на аэродроме, много лет трудился над

тем, чтобы придать существующим машинам новые боевые качества, увеличить их боевую эффективность.

Известно, что самолеты истребительного типа — грозное оружие воздушной войны. Но радиус полета легкой маневренной машины, конструктивные данные которой рассчитаны преимущественно на ведение воздушного боя, ограничен небольшим запасом горючего. Нельзя ли увеличить сроки пребывания истребителей в воздухе, нельзя ли добиться того, чтобы дальность полета истребителя не уступала дальности полета бомбардировщика? Это позволило бы не стесненному расстоянием истребителю вести бой вдалеке от своих баз, сопровождать в глубокие тылы врага тяжелые бомбардировщики, охраняя их от воздушного противника, совершать далекие штурмовые рейды. Но если бы удалось разрешить эту задачу, то незамедлительно стоило бы и можно было поставить и вторую задачу, не менее увлекательную, не менее существенную для военной авиации.

Теоретические расчеты не раз подтверждали, что самолеты-истребители, будь они уже в воздухе, могли бы осуществить полет с тяжелым бомбовым грузом. Но как оторваться им от земли? А между тем достигаемая при бомбометании точность поражения цели во многом зависит от того, с какой высоты оно производится. Даже пикирующие бомбардировщики, сконструированные в последние годы, выходят из пике на сравнительно значительной высоте. Если бы истребительная машина, способная покрыть дальнейе расстояние, оказалась в состоянии подняться в воздух с большой бомбовой нагрузкой, то производимое ею бомбометание было бы предельно точным: истребитель может выходить из пике на высоте 200-300 метров. К тому же угол почти отвесного пикирования, не доступный ни одному бомбардировщику, также обеспечил бы истребителю максимальную точность бомбометания.

Весь этот комплекс задач нашел свое реальное воплощение в простой и технически остроумной системе подвески истребителей к бомбардировщику, раз-

работанной советским конструктором. Достоинства проекта были оценены командованием морской авиации, и сейчас на одном из подмосковных аэродромов предстояли практические испытания «подвески», превращавшей истребитель в скоростной пикирующий бомбардировщик.

Каждый день, придя на аэродром, Литвинчук и Рыжов занимали места в кабинах своих подвешенных самолетов и, поднятые в воздух, доказывали там правильность произведенных за письменным столом расчетов. Да, ссылаясь на физические законы и аргументируя математическими выкладками, конструктор убедил летчиков, что истребители легко и просто отцепятся от бомбардировщика, но как изгнать из тайников сознания это маленькое «а вдруг?» Вот уже огромные колеса бомбардировщика, пробежав по аэродрому, возвращаются на холостом ходу над несмятыми стеблями высокой травы, вот уже крыши строений мелькают внизу и быстро исчезают где-то позади, вот уже достигнута нужная высота и надо по сигналу производить отцепку. А вдруг? Несколько простых движений, и простиравшаяся только-что над тобою, закрывавшая солнце плоскость бомбардировщика отходит назад. Литвинчук глядит вправо — Рыжов весело машет ему рукой. Две машины идут на посадку.

Полтора месяца на подмосковном аэродроме длились всесторонние испытания «подвески».

Литвинчуку и Рыжову была объявлена благодарность начальника морской авиации и дано приказание вылететь на подвеске у бомбардировщика в расположение своей части.

Это был первый дальний перелет истребителей, транспортируемых тяжелым бомбардировщиком.

Солнце багрянило огромное облако, плывущее над морем. С высоты Литвинчук и Рыжов отчетливо видели пустынное поле родного аэродрома. Вдали, за красной черепицей городских кварталов, они различили ровную кромку песчаного берега и, вспомнив, что сегодня воскресенье, огорчились: все наши, должно быть, на пляже, никто и не заметит, с

каким дивом возвращаются они сейчас из Москвы, как развернется над аэродромом их гигантская мельница, с каким фасоном отцепятся они от бомбардировщика и как шикарно пойдут на посадку!

3. ВОЙНА НАЧИНАЕТСЯ

Столб огня взметнулся над далеким городом. Кровавые языки пламени лизнули небо и, быстро спадая, оставили на нем — вдоль возникшего во мгле горизонта — зловещую рану ожога. Отсюда, с этого высокого плоскогорья, над которым простерлась благодатная крымская ночь вся в звездах и стрекоте цикад, майор Павлов и капитан Шубиков увидели первое зарево начавшейся войны.

Командный пункт был расположен на вершине холма. Стоя здесь, можно было охватить взглядом гористый простор, уходивший вдаль и терявшийся в лабиринте хребтов и кряжей. Севастополь, крутым амфитеатром поднимавшийся от самой бухты, по ночам переливался бесчисленными огнями, как тиара скифского царя, согласно древней легенде затерянная в крымских горах. Не прошло и часа, как величественная панорама черноморской столицы потонула в полумночной темени.

— Опять учения по светомаскировке! — заметил кто-то из летчиков, когда внезапно погасли севастопольские огни. — Перевернулась старая пословица: неученье — свет, а ученье — тьма...

— Постойте! — резко сказал Павлов. — В воздухе какие-то самолеты. Прислушайтесь, Шубиков!

Но Шубиков, казалось, не слышал вопроса. Сосредоточенный, как-то по необычному собранный, подавшись вперед и склонив набок вскинутую вверх голову, он прислушивался к едва различимому далекому гулу моторов, в котором ему чудилось что-то знакомое и враждебное.

— «Хейнкеля»! — вдруг сказал он с оттенком удивления, но уверенно.

Теперь уже все на аэродроме слышали звенящий, монотонный в своей прерывистости звук чужих моторов. И не успели еще слова Шубикова дойти до сознания его товарищей, как начал

бить зенитки, и лучи прожекторов, расчертив небо скрещивающимися копьями, выхватили из ночи поблескивающую в их свете точку.

— «Хейнкель»!.. — прошептал Шубиков.

Пойманный в световое перекрещение, самолет попытался вырваться из цепкого плена. Он сворачивал из стороны в сторону, но неуклонно следовали за ним слепящие голубые лучи. Разрывы зенитных снарядов, сперва покрывавшие золотой рябью все ночное небо, после мгновенного перерыва, необходимого зенитчикам для перестановки прицела, сошлись к точке перекрещения лучей и снопом мелькающих брызг обдали едва заметную в высоте мишень. Все чаще и чаще, все ближе и ближе разрывы. Замирают люди на вершине далекого холма: летчики, они знают, что судьба взятого в такой переплет бомбардировщика предрешена. Мгновенье, и сверкающая белым светом точка превращается в комок пламени. Лучи прожекторов расходятся по сторонам, зенитные разрывы исчезают, и только их глухое потрескивание еще некоторое время доносится сюда.

Гул чужих моторов не смолкает. Прожекторы вновь разбегаются по небу — надо продолжать поиски других самолетов.

Еще точно не зная, что происходит над Севастополем, еще не постигая размаха чудовищного злодеяния, совершаемого в эту ночь вероломным врагом его родины, майор Павлов отдает приказ:

— Все по машинам! Будьте готовы ко всему. Отомстим за Севастополь!

Солнце взошло, когда война уже вторглась в жизнь каждого из нас. Краснозвездные самолеты делали лавные круги над городом, бухтой, кораблями Черноморской эскадры.

Машины взлетали непрерывной чередой и, как часовые, сменяя друг друга в воздухе, возвращались на аэродром, чтобы в назначенный час снова итти на охрану главной базы флота.

Вечером, заглянув в штабную палатку, Павлов застал Шубикова склонившимся при свете маленькой аккумуляторной лампочки над листом бумаги.

— Что ты там сочиняешь, Шубиков?

— Докладную записку... насчет «подвески»...

Прошло немало времени с того памятного часа, когда Павлов и Шубиков, лежа на пляже, оказались зрителями необычайного представления под самым куполом неба и впервые увидели, как их родные ястребки отрываются от плоскостей бомбардировщика. Прибыв на аэродром, они не обнаружили здесь ничего необыкновенного: машины, на которых прилетели Литвинчук и Рыжов, стояли у красной линейки, решительно ничем не отличаясь от других подобных же машин, и только на северном краю летного поля в сгущавшихся сумерках выделялся силуэт великана-бомбардировщика, редкого гостя на аэродроме истребительной авиации.

На следующий день Литвинчук и Рыжов несколько раз повторили над аэродромом свои полеты, а затем, передав машины техникам, довольные обращенным на них всеобщим вниманием, подошли к командиру эскадрильи: что скажет капитан?

Всем складом своим Шубиков не принадлежал к числу людей, рубящих сплеча и имеющих быстрые ответы на все случаи жизни. Смысл «подвески» еще не был ему ясен до конца, перед полетами он успел перекинуться с Литвинчуком лишь несколькими словами, он не ощущал еще собственными руками все тросы, замки и крепления, соединяющие три машины, но, чорт возьми, почему-то непреодолимо хотелось поскорей самому залезть в кабину и самому, обязательно самому отцепиться от бомбардировщика над особенно людным сегодня аэродромом!

— Не знаю, — сказал Шубиков Литвинчуку и Рыжову. — Возможно, это и хорошее дело. Мне еще не все ясно.

Не успело улечься общее возбуждение, вызванное демонстрацией московской новинки, как еще одна новость взбудоражила полк. Пришел приказ: тренировочные полеты на подвеске в более широких масштабах производить эскадрилье капитана Шубикова.

Прилетевший из Москвы конструктор носился вместе с капитаном Шубиковым

по аэродрому среди разобранных частей истребителей и бомбардировщиков. И старожилы полка — авиационные техники в промасленных серых комбинезонах, и приезжающие слесари и столяры в желтых, синих и красных майках, увлеченные горячностью конструктора и капитана, работали, как говорят в авиации, «с полной отдачей». Вскоре несколько бомбардировщиков с подвешенными к ним истребителями были испытаны на земле и в воздухе. Вслед за Шубиковым на подвесках летали уже многие летчики эскадрильи, без конца, без счета отцеплялись над полигоном, бомбили по мишеням, а пыл капитана не остывал. Каждый день он вылетал первым.

Лишь поздней крымской осенью, когда размок от ливней аэродром и колеса перегруженных подвеской бомбардировщиков, завязнув в жирном месиве, не могли оторваться от клейкой земли, Шубиков прекратил тренировочные полеты. Бомбардировщики ушли на другие аэродромы, эскадрилья проводила обычную зимнюю учебную подготовку, а весной перебазировалась в другие черноморские места вблизи Севастополя, где и застал ее первый день войны.

— Я головой ручаюсь за «подвеску», — твердил сейчас майору Шубиков, меряя шагами сыреющую к вечеру мятую траву в штабной палатке. — Только бы нам разрешили, товарищ майор, таких бы мы делов наделали...

— Что ж, попробуем, Шубиков... Занчивай докладную, а там посмотрим...

Судьба новинки, однако, определилась быстрее, чем это можно было ожидать: на боевой аэродром приехал армейский комиссар.

Армейский комиссар и сопровождавшие его командиры обошли аэродром и вернулись в штабную палатку на склоне холма. За ними опустился полог, и в мягком полусумраке затрепетали пробивавшиеся сквозь отверстия в брезенте солнечные нити.

— Садитесь, товарищи, — пригласил армейский комиссар.

Командиры расселись на койках, дрожащие световые зайчики перескочили

с ворса одеял на сукно флотских кигелей. Совещание началось.

Шубиков примостился на краю койки. Все в палатке знакомо ему до самых пустяковых мелочей, до вмятины на эмалированном чайнике, до царапины на полировке приемника...

Вот — стол. Вот — чуть выдвинут ящик. Исписанные вдоль и поперек, испещренные поправками и пометками, лежат там черновики незаконченной докладной записки. Жаль, что не дописал! А армейский комиссар говорит сейчас как-раз о самом главном, о том, что хотелось сформулировать в первых же строчках: о необходимости напрячь все силы в борьбе с врагом, об использовании всех средств, всех возможностей для нанесения врагу самых чувствительных ударов. А что если встать и на словах, без всякой писанины, доложить о «подвеске», о том, какая это замечательная штука?

— Разрешите, товарищ армейский комиссар?

— Давайте, Шубиков...

Волнуясь, сбивчиво, понимая, что сбивается, и потому сбиваясь еще больше, стал Шубиков докладывать, как далеко могут ходить истребители на подвеске, как точно поражают цель его маленькие бомбардировщики, и что он, командир истребительной эскадрильи, производивший тренировочные полеты на подвеске у бомбардировщиков, просит придать ему тяжелые самолеты, разрешить сделать хотя бы один боевой вылет, и тогда все будет ясно.

— А что вы можете сделать с этой подвеской? — после короткой паузы спросил армейский комиссар.

— Все. Бомбить корабли. Встретим миноносец — потопим. Это точно, товарищ армейский комиссар!

— А что еще можете?

— Можем в Констанцу слетать. Ночью, днем — все равно. Нам и сопровождения не нужно, сами себя охраняем: отцепимся, сбросим бомбы — мы снова истребители. С любым «мессером» подеремся...

— В Констанцу? — перебил армейский комиссар. — Дайте масштабную линейку.

Измерив расстояние, отделяющее этот пункт от аэродрома, на котором базировался полк, армейский комиссар откинулся на стуле и, не скрывая собственного интереса к только-что возникшей у него идее, раздельно произносил каждое слово, обратился к Шубикову:

— Имеется, Шубиков, хорошая цель... Черноводы... Мост через Дунай... Черноводский мост... Возьметесь?.. Сумеете разбомбить?

— С гарантией! Положим за один налет!

— Вы уверены?

— Убеден.

— А вы как думаете, Павлов? — обратился армейский комиссар к командиру полка. — Разобьет Шубиков Черноводский мост?

— Полагаю — разобьет. Основания есть.

— Какие, изложите.

— Шубикову выгоднее бомбить мост, чем любую точечную цель...

— Почему? Объясните подробно.

— Есть, товарищ армейский комиссар. При бомбардировке точечной цели летчику, не знающему силы и направления ветра в районе цели, стесненному противодействием противника в выборе угла пикирования, очень трудно определить точку выноса прицела, очень трудно взять правильное упреждение по расстоянию. Другое дело, когда бомбишь длинную цель, как бы она узка ни была: летчик борется только с боковым сносом. Шубиков не зря берется бомбить мост.

— Хорошо, — сказал армейский комиссар, выслушав командира полка, докладывавшего спокойно и методично, как на разборе учений. — Итак, капитан Шубиков берется уничтожить Черноводский мост. Большое дело. Ну, что ж. Потолкуем о нем на Военном Совете. А пока — готовьте материальную часть для подвески. Думаю, что на-днях вы получите задание. Будьте готовы.

В опустевшей штабной палатке после отъезда армейского комиссара Павлов поздравил сияющего Шубикова.

— Принимайся, Арсений Васильевич,

ва дело. Не подводи командира полка: раз обещали — надо сделать.

— Товарищ майор, разрешите доложить: капитан Шубиков раз навсегда кончает утюжить небо и начинает готовиться к ответственной заграничной командировке со специальным заданием — дать дрозда скрипачам!

— Давай, давай... Собирай технический состав!

Был у Шубикова техник. Он ведал машиной, на которой летал капитан. И хотя в армии и флоте, согласно неписаным воинским установлениям, бойцы и командиры обращаются друг к другу по фамилии, младшего воентехника Линчевского бойцы и командиры называли по имени и отчеству — Борис Иванович.

Борис Иванович Линчевский, недавний донецкий шахтер, только придя на аэродром рядовым краснофлотцем, впервые увидел в непосредственной близости от себя настоящий самолет-истребитель и настоящего летчика-истребителя. Слово «аэродинамика» и другие мудреные иностранные слова были для него загадочны и непонятны. Но у молодого краснофлотца оказался пытливый ум. Перебирая гайку за гайкой, винтик за винтиком, трубку за трубкой, мотор за мотором, Линчевский раскрывал ошеломляющие тайны, и, наконец, еще одно иностранное слово «экстерн» дало ему звание авиационного специалиста. Проникая все глубже и глубже в секреты своей хлопотливой специальности, Линчевский познал и другое: есть храбрость, не знающая преград, есть скромность, украшающая человека, есть преданность родине, рождающая героя. И все эти черты советского воина он увидел в своем командире, водителе своей машины — капитане Шубикове.

Летчик, принимая из рук техника машину, оставляет ему в залог свою жизнь. Когда идешь в воздух, как много значит эта твердая уверенность, что не забарахлит мотор, что будут послушны рули, что не выдаст гашетка пулемета. Как много значит для летчика то, что выражено в четырех сухих словах очередного боевого донесения: «Материальная часть работала безотказно».

В молчаливом, неулыбчатом, всеведующем и всезнающем технике, одинаково с Шубиковым слышавшем биение пульса и самое сердце машины, капитан видел прямого соучастника каждого своего полета.

Итак, был у Шубикова друг. Он велел машиной, на которой летал капитан.

К Линчевскому и направился Шубиков, выйдя из штабной палатки.

— Вот, Борис Иванович, и для нас с тобой настоящая война наступает. Завтра — на старый аэродром! Будем готовить подвеску.

— Что ж, справимся, — ответил техник скромно.

Второй раз благообразный аэродром истребительной авиации, ничем не отличавшийся от всех прочих подобных аэродромов, переживает такую строительную горячку. Красная линейка завалена разъятыми частями бомбардировщиков — исполинские плоскости валяются то здесь, то там, а подъемные краны висят над ними, напоминая длинные, поднятые вверх шеи ихтиозавров.

Неумолчный грохот наполняет раскаленный воздух. Металл гулко бьет о металл, пронзительно визжат пилы, металлорежущие ножовки вторят им, шипят автогены, скрежещут лебедки, во-всю гремит, стонет мехами, дребезжит и гудит огромный цех под открытым полуденным небом.

Столпотворение, царившее на летном поле, было и Павлову, и Шубикову не внове. Оба они руководили подготовкой материальной части для подвесок в прошлом году, оба они познали созидательный азарт, желание как можно скорее воссоединить мертвые части в разумные машины, чтобы вывести их на старт.

Готов первый бомбардировщик. К нему подвешены две истребительные машины. Одна из них принадлежит капитану Шубикову. Борис Иванович сидит в кабине самолета, в прохладной тени, защищенный от солнца дюралюминиевой крышей. Ястребок висит над землей на высоте одного метра. Борис Иванович поворачивает рычаг отцеп-

ки, и машина спрыгивает на землю. Вот и весь полет Бориса Ивановича... Он повторяет его по многу раз, пока не убеждается в абсолютной синхронности работы механизма.

Две машины снова подвешиваются к бомбардировщику, но теперь Борис Иванович остается на земле. Обе кабины пусты. Линчевский и другие техники отходят в сторону. Бомбардировщик запускает моторы, и степная пыль ударяет в лицо, хлещет по сомкнутому векам. Люди отворачиваются в полоборота. Впервые покидая красную линейку, бомбардировщик медленно рулит по аэродрому и бережно несет над самой землей подвешенные к нему истребители. Затем он рулит все быстрее и быстрее и даже поднимает хвост — вот вся эта строенная машина, если добавить моторам обороты, оторвется от земли. Но пока скорость недостаточна для отрыва, и, сделав еще один наземный круг, бомбардировщик возвращается домой к покинутому недавно месту стоянки.

Сюда на тележках подвезены тяжелые бомбы. Вооруженцы подвешивают их к истребителям, и опять с самого начала выполняй утомительную программу непрестанных рулежек, бесконечных наземных испытаний: прочны ли балки с замками и пирамиды, на которых висят истребители, выдержат ли такую нагрузку плоскости и шасси самого бомбардировщика?

На земле подвеска ведет себя отлично. Остается опробовать действие механизмов в воздухе. Шубиков подходит к своему самолету. Сняв фуражку и, как всегда, вручив ее Борису Ивановичу, он надевает шлем и влезает в кабину. Литвинчук, усаживаясь во вторую машину, видит только голову командира и по движению закрылок на плоскостях соседнего ястребка догадывается, что капитан проверяет рули. Лейтенант оглядывается: слева, под крыльями других, почти готовых бомбардировщиков, сидят товарищи, которые тоже будут работать на подвесках. Собралась все свои, старые «циркачи», летавшие прошлой осенью: Филимонов, Каспаров, Самарцев... Данилин придет на-днях. Всё ко-

реши! Жаль, что нет Рыжова! Говорят, он славно воюет в других местах, в другой эскадрилье...

Подвеска и в воздухе ведет себя отлично.

Прошли рабочие дни, прошли рабочие ночи, ничем не отличавшиеся от рабочих дней, и все бомбардировщики, кроме одного, и все истребители, кроме двух, были готовы. На металлическом хребте последнего, еще не вступившего в строй бомбардировщика, на самой высокой точке, подле застекленной штурманской кабины, сидят, свесив ноги, Павлов и Шубиков и наблюдают за тем, что происходит на земле и в воздухе. Отсюда, со своей импровизированной наблюдательной вышки, майор и капитан хорошо видят, как рулят по аэродрому звенья боевых самолетов, как уходят они в высоту с подвешенными к ним бомбами, как распадаются в воздухе три только-что составлявшие одно целое машины. Бомбардировщики разворачиваются — они добросовестно выполнили свою роль и могут идти на посадку. Истребители пересекают залив и на том берегу, над полигоном, переходят в стрелительное пики. Шубиков до боли прижимает к глазам полевой бинокль: тяжелые цементные бомбы, взметая белую пыль, падают точно на цель, поражают мишень за мишенью.

4. НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ

Карта западной части Черного моря перенесена тушью на прозрачную кальку. Тонкий рейсфедер протянул между очертаниями двух берегов уверенные прямые линии маршрутов: туда — к враждебному берегу, и обратно — к родным берегам. К кальке прикреплен лист бумаги с текстом приказа, напечатанным на штабной машинке.

Майор Павлов ставит под приказом свою подпись и передает перо военному полка:

— Подпиши, товарищ Пронченко...

Приказ точно определяет сроки и часы выполнения летчиками капитана Шубикова сложного и ответственного задания. Все детали предстоящей операции давно уже обсуждены коман-

диром и военкомом, все договорено и все ясно обоим. Что может быть проще, чем поставить и свою подпись под приказом? Но тихая минута выполнения этой короткой формальности оказывается много длиннее иных часов жизни.

В военно-политической академии летчик Пронченко изучал историю военного искусства, стратегию и тактику минувших войн, дела и труды великих полководцев всех времен и народов, и он знал, какие преимущества всегда дает новое, неожиданно в нужный момент примененное оружие. В дни Великой Отечественной войны комиссару стали хорошо известны дерзость и отвага молодых советских воинов, с нетерпением ожидавших разрешения проникнуть в глубокое логовище врага и поразить дракона в его пещере. Ему, военному полка, представителю партии, воспитавшей этих храбрых и бесстрашных патриотов, дорог каждый из них, он отвечает за каждого перед партией, а завтра утром, выполняя вот этот приказ, они пойдут в дальний путь, в какой никто никогда не пускался на истребителях, они уйдут далеко в море, так далеко, куда никогда не ходил ни один истребитель, они будут выполнять задание, которое поставлено перед истребителями впервые в истории истребительной авиации. Правда, это все еще не Черноводский мост, о котором шла речь при встрече с армейским комиссаром. Пока (и было совершенно ясно, что только для первого раза) надо нанести бомбовый удар по более легкой, но все же чрезвычайно сложной цели, надо идти по менее далекому, но все же чрезвычайно далекому маршруту. На кальке, приложенной к приказу, черная линия маршрута устремлялась к Констанце — главной военно-морской базе фашистской Румынии. Майор рассказывал комиссару, как обрадовался Шубиков наконец-то полученному заданию и как огорчился он, узнав, что это все же не Черноводский мост. Воспользовавшись огорчением капитана, майор хотел было отговорить Шубикова от личного участия в первой операции (ты уж двинешь, Арсений Васильевич, прямо на Чер-

новоды, а сейчас снаряжай Литвинчука, Филимонова, Самарцева и Каспарова!), но Шубиков сперва взбеленился, а потом, не моргнув глазом, доложил, что Каспаров заболел и, хочешь-не хочешь, а именно ему, Шубикову, придется идти на Констанду. Майор не сомневался, что Каспаров и не подозревает о собственной болезни, но спорить с капитаном не стал.

На утро — старт.

На аэродром прилетел командир соединения черноморских истребителей, боевой летчик, известный на многих морях, воевавший и над сопками у озера Хасан, и над торосами Финского залива. Когда будут закончены последние приготовления, на залитом июльским солнцем черноморском аэродроме командир соединения истребительной авиации впервые в своей жизни даст старт тяжелым бомбардировщикам, которые понесут его отважных истребителей.

У капитана Шубикова через плечо перекинута длинная белая лямка. На ней висит громадный самодельный целлулоидный планшет, сквозь матовую желтизну которого просвечивает карта, дважды перечеркнутая красной чертой маршрута. У летчика-истребителя все штурманское хозяйство уместается на коленях. Но вот стоило маршруту удлиниться, как обычной карте уже тесно в нормальном планшете, и приходится изготовить планшет-монстр, который волочится за Шубиковым по земле, когда он напоследок обходит машины.

Борис Иванович, как всегда, помог командиру пристегнуть парашют и подал в кабину свисавший на лямке планшет. Стартеры с разбега прильнули длинными железными хоботами к винтам истребителей и сразу же отпрянули назад, будто испугавшись рева запущенных ими моторов. Вот качнулись лопасти одного из винтов бомбардировщика, вот уже загрохотали все его моторы, приведенные в движение сжатым воздухом, и металлические винты, в своем бешеном вращении утратив видимую материальность, перевоплотились в прозрачные воздушные диски, поблескивающие на солнце.

— Заработала мельница! — сказал Павлов, скрывая за шуткой волнение, и обратился к стоявшему рядом с ним командиру соединения: — Разрешите дать ракету?

Красная ракета легким пушистым облачком поплыла над степью и растаяла вдали.

Бомбардировщики рулят по аэродрому. Пока тяжелая машина бежит по земле, Шубиков испытывает пресмешное чувство, возникавшее в нем каждый раз на тренировках, — чувство взрослого и серьезного человека, которого катают на ярмарочной карусели. Перед самым взлетом с левой стороны под козырьком кабины, защищающей лицо летчика от воздушной струи, несколько раз мигает белая лампочка: командир бомбардировщика запрашивает Шубикова об его готовности к взлету. Шубиков нажимает кнопку на левом борту, включая этим такую же сигнальную лампочку на бомбардировщике: «Все в порядке. Готов к взлету». Теперь капитан не отрывает глаз от щитка световой сигнализации под плоскостью несущего истребитель воздушного корабля. «Газ!» — вспыхивает слово на щитке, и Шубиков, увеличивая обороты своего мотора, помогает бомбардировщику оторваться от земли.

Опять это странное ощущение! Автоматизм, выработанный годами, властно зовет к активности. Шубиков с трудом преодолевает инстинктивное стремление взять ручку на себя, как он это всегда делает, подымая самолет в воздух. Летчик-истребитель, полновластный и безраздельный хозяин своей машины, пилот, штурман и стрелок одновременно, всегда активный, привыкший к множеству автоматических движений, необходимых во всех стадиях полета, он оказывается на этот раз почти пассажиром, которому нечего делать со всеми его рычагами и педалями.

Но с каким упоением направит Шубиков в самое сердце Констанцы свои мощные бомбы, способные крошить сталь и бетон! С каким упоением он разрядит свой пулемет в того, кто попытается встать ему на пути! Пальцы сами собой нажимают на гашетку, и несколько огненных трасс мелькают впереди само-

лета. Шубиков смотрит в сторону обернувшегося к нему Литвинчука и, подняв руку с выдвинутым вперед кулаком, повторяет крайней фалангой большого пальца то же движение, как и при нажиме на гашетку. Литвинчук, поняв команду, дает несколько пробных очередей. Затем, широко улыбаясь, он плашмя ударяет ладонью о прицел, докладывая, что у него все пулеметы работают хорошо.

Идущие на подвеске у второго бомбардировщика старший лейтенант Филимонов и лейтенант Самарцев тоже опробывают оружие.

Все то же море, величественное в своем однообразии, подернутое легкой дымкой в этот ясный день, раскинулось в четырех тысячах метрах под тобой. Скорость тяжелого бомбардировщика намного меньше привычной скорости истребителя, и невыразимо долго тянутся часы томительного бездействия. Глазу не на чем остановиться, задержаться на чем-либо хоть на мгновение: какой в море найдешь ориентир? Штурманы на бомбардировщиках ведут корабли по расчетам, за которыми истребители следить не могут. Где же, наконец, вражеский берег? Уже несколько раз казалось, что где-то там, впереди, наметилась долгожданная линия земли, но нет, это только померещилось напряженному взгляду, перед тобой все та же голубая равнина. И когда береговая черта действительно возникает на горизонте, Шубиков радуется ей так, как будто она могла никогда и не появиться.

«Внимание!» — требует сигнальная лампочка под козырьком. — «Есть, внимание!» — нажимает Шубиков кнопку ответного сигнала. И тотчас же на светящемся щитке под плоскостью бомбардировщика, там, где при взлете вспыхнуло слово «Газ!», появляется такое же повелительное слово «Срыв!». Шубиков резко поворачивает ручку отцепки заднего замка и, сразу почувствовав, что его ястребок имеет уже одну ось свободы, движением ручки управления производит от себя полную отцепку: ястребок поднимает хвост и плавно скользит под небольшим углом вниз. Теперь самолет идет на своем моторе, мотор

работает на своем горючем. Самолет и летчик предоставлены самим себе. Шубиков одновременно дает газ с набором высоты и вместе со своим напарником уходит вперед. Филимонов и Самарцев пристраиваются к ним, и вся четверка в правом пеленге устремляется к румынским берегам.

Бомбардировщики разворачиваются — они могут возвращаться домой.

— До свидания, друзья! До встречи на родном аэродроме!

Берег быстро приближается, становится все явственнее, чужая земля вырастает перед глазами, и сразу видно, что она чужая. Советские летчики привыкли к широкому раздолью колхозных полей и нив, переливающихся на солнце янтарем зреющих хлебов и изумрудом сочных пастбищ. Посмотришь этак с высоты — в шелка и бархат одета родимая сторона! А тут клочки мелко изрезанной межами земли торчат, как заплатки на рубище нищего. Среди этих рваных лохмотьев легко различить богатые боярские усадьбы, латифундии современных рабовладельцев. Страна господ, страна рабов! Жалкая страна! Гитлеровская шлюха!

Мол аккуратной белой линией окаймляет гавань Констанцы. Северная часть города утопает в зелени — здесь раскинулись буржуазные кварталы. Южная окраина чернеет закопченными строениями фабричной голи. Четыре советских самолета, ровно в 12 часов 45 минут, проходят на высоте двух тысяч пятидесяти метров над главной военно-морской базой Румынии, над самой гаванью, над оживленным портом, у пирсов и причалов которого теснятся лайбы, баржи, буксиры, плоты, проходят над зенитными батареями и наблюдательными вышками.

Досадно, что нет в гавани военных кораблей! Хорошо бы грохотом советской бомбы разбудить румынского адмирала и скормить его румынским крабам! Но кораблей нет, и Шубиков присматривает другую цель. Портовые сооружения, судоремонтные мастерские, пакгаузы у подъездных путей, элеваторы, подъемные краны возвышаются на подступах к городу с моря. Нефтеперегонный завод и

нефтяные баки ясно выделяются в стороне. Там—разбитые строения складов, широкие обгорелые пятна на месте ранее взорванных летчиками Цурцумией и Токаревым цистерн и баков с горючим. А вот в стороне уцелевшие заводы со складами нефти—объект сегодняшнего бомбометания.

Ну и ахнули же румынские наблюдатели и зенитчики, когда распался строй шедших на высоте машин, и не внушавшие тревоги истребители, перейдя в почти отвесное пики, ринулись на порт и нефтяной городок. Взрывы каких-то непомерных для истребителя бомб сливаются в один сплошной грозный гул, проходящий раскатами по воде. Густой дым зловещей пеленой ложится на город: горят судоремонтные мастерские и нефтеперегонный завод, пылают хранилища драгоценной нефти!

Вот и вся недолга — нажал кнопку сбрасывателя, бомбы легли на цель, боевая операция, к которой ты столько готовился, уже почти завершена, задание выполнено, и ты уже должен возвращаться, так и не втянув в легкие горький запах гари, так и не подышав сладким воздухом победы. Разрывы шубиковских бомб видит Литвинчук, пикирующий вслед за командиром. Разрывы бомб Литвинчука видят Филимонов и Самарцев, пикирующие последними.

Все это происходит в мгновения, едва отделимые друг от друга. И в те же мгновения по четырем быстрым мишеням открывают остервенелый огонь орудия, автоматы и пулеметы, густо установленные повсюду в порту — на крышах, на лайбах, на плотах. Под вражеским зенитным огнем до сих пор бывал один лишь Шубиков. В былых боях он научился ловко и расчетливо маневрировать между черными клубками, красными шариками, несущими гибель крапинками огня и дыма. Но его товарищи получают первое зенитное крещение и — право слово! — ведут себя героически. Ни зенитным снарядам, ни зеленым и серым вперемежку нитям пулеметных очередей не достигнуть четырех истребителей, которые, сделав свое дерзкое дело, на бреющем полете низко, низко, над самыми головами оторопевших румын-

ских зенитчиков выходят в море и, лавируя по вертикали и по горизонтали среди разрывов, направляются к советским берегам.

Сбросив свой взрывной груз, маленькие бомбардировщики стали вновь истребителями, готовыми к встрече с воздушным врагом, и это весьма кстати: по сигналу тревоги с ближайшего румынского аэродрома поднялись два немецких истребителя. Литвинчук, шедший один в десяти километрах от берега на траверзе Констанцы, и Шубиков, первый вышедший из пики и потому опередивший товарища, заметили вражеские самолеты одновременно. Литвинчук увидел, как два «мессершмитта» устремляются на него, Шубиков увидел, как два «мессершмитта» устремляются на Литвинчука. То ли не рассчитав атаки, то ли побоявшись врезаться в воду, к которой прижимался Литвинчук, немцы проскочили над ястребком и оказались — сразу на большой дистанции — перед самыми его пулеметами. Лейтенант не преминул дать несколько очередей, скорее для острастки, чем в надежде попасть — больно далеко были от него оба ганса. «Мессершмитты» развернулись, чтобы зайти в хвост Литвинчуку, и Литвинчук тоже развернулся, чтобы зайти в хвост «мессершмиттам». «Будет бой, — радовался лейтенант, — мой первый воздушный бой!» Но бой не состоялся. Не состоялся бой над морем, вблизи вражеского берега, не состоялся бой одного против двух, потому что на выручку своему лейтенанту ринулся командир эскадрильи. Шубиков шел на немцев лобовой атакой. Один «мессершмитт» отвернул и стал уходить. Литвинчук хотел посмотреть, где второй «мессершмитт», но и его в поле зрения не оказалось. Лейтенант увидел только самолет своего командира и пристроился к нему, чтобы продолжить совместный путь.

Вскоре к ним примкнули Филимонов и Самарцев.

Истребителям, ставшим вновь истребителями, скоростными, маневренными, предназначенными для воздушного боя машинами, незачем уходить далеко в море, подальше от вражеских берегов.

Они возвращаются кратчайшим путем вдоль береговой черты. Горючего, как и рассчитали, хватает до ближайшего советского аэродрома, а оттуда недалек путь и домой.

Одна из машин идет на посадку. Снившись на большой скорости и задрав хвост, она тыкается колесами о землю. Самолет подпрыгивает, и только затем летчик производит нормальное досаживание.

Шубиков вылезает из машины и со смущенной улыбкой идет навстречу бегущему к нему майору. Павлов на бегу укоризненно покачивает головой (ох, уж опять мне эта «испанская посадка!») и, сразбегу чуть не опрокидывая Шубикова, крепко обнимает и целует его.

— Рассказывай! Да! дрозда скрипачам?

— Задание выполнено, товарищ командир полка... — начинает Шубиков и тут же сбивается: — Ух, и удивился же главный скрипач из румынского ПВО! Загремит теперь, ей-богу, — загремит! Его Гитлер обязательно на губу посадит, а то и вовсе с работы снимет...

Шубиков умолкает, смотрит, как приземляются остальные машины, и, убедившись, что все в порядке, кричит Линчевскому, уже завозившемуся около своего самолета:

— Дай закурить, Борис Иванович!

Давно стало обыкновением, что Шубиков, возвращаясь из полета, угощался первой папиросой из портсигара Бориса Ивановича. Сам заядлый курильщик, Линчевский сочувствовал своему командиру, лишенному в полете возможности хорошенько затянуться. И поэтому, стоило Шубикову приземлиться, как в руках Линчевского раскрывался старенький клеенчатый портсигар «в нахлобучку». Постепенно вручение этой первой, необыкновенно вкусной послеполетной папиросы, знаменовавшей счастливое возвращение летчика, стало своеобразным маленьким ритуалом, который обе стороны никогда не нарушали.

5. ЧЕРНОВОДСКИЙ МОСТ

Две бурливые горные речонки — Бреге и Бригах — стекают с восточного

склона Шварцвальда и у Донау-Эшингена сливают свои воды в один поток. Здесь рождается Дунай. От Черного леса до Черного моря течет, все расширяясь, принимая в себя воды все новых и новых бесчисленных притоков, самая большая река в Западной Европе, вторая после Волги на европейском континенте, река, вошедшая в поэмы и экономические трактаты, географические исследования и дипломатические ноты, в музыку и в историю. Возвышенность Швабской Юры — колыбель новорожденного Дуная. Альпийские снега полнят русло реки, раздвигают ее берега, и у Регенсбурга, там, где Дунай дальше всего заходит к северу, древний Богемский горный массив преграждает ему путь. Вода обтекает камень, река гибнет горы, Дунай отклоняется на юго-восток и течет вдоль подножья Баварского леса. Он прокладывает себе путь мимо Восточных Альп, прорывается через южный отрог Карпатских гор, пересекает равнину Верхней Венгерской низменности, врзается в зону известняковых гор Боконского леса, стекает в Нижнюю Венгерскую низменность и вступает на Балканский полуостров. Остаются позади Сербские горы... Дробясь о камни и пенясь, пронесется дунайская быстрина сквозь ущелье Клинсуры и пороги Железных ворот и снова выходит на простор — пока, разбившись на десятки рукавов песчаной дельты, не впадает, наконец, в Черное море.

Две тысячи восемьсот шестьдесят километров — длина грандиозной водной магистрали, проходящей через земли восьми европейских государств — Германии, Австрии, Чехословакии, Венгрии, Югославии, Болгарии, Румынии, Советской Молдавии. В Германии рождается река, из Германии хлынуло на восток и то зло, которое сделало голубой Дунай рекой плача и скорби, рекой народного горя и бедствий. В прибрежных скалах и горных ущельях, в высоких камышах и на зеленеющих отмелях хоронятся от карателей австрийские и чехословацкие патриоты, вольные югославские юнаки, красные партизаны Советской Бессарабии, народные мстители, сыны молдавского народа, — все те, кто

комиссар, как два идущие в бой лейтенанта запевают хорошую песню:

В бой за Родину, в бой за Сталина!
Боевая честь нам дорога.
Коня сытые бьют копытами,
Встретим мы по-сталински врага.

Что из того, что песня кавалерийская? Кто знает, не случилось ли и кавалеристам перед атакой запевать песню летчиков? И не все ли равно — летчики, кавалеристы, танкисты, пехотинцы? Всем им одинаково дорога боевая честь, все они идут в бой за родину, за Сталина и по-сталински встречают врага. Тихо, чтобы не спугнуть песню, отходит в сторону комиссар.

Майор дает зеленую ракету.

Старт!

Черными слонами пробиваются сквозь дремучие ночные джунгли туши ревущих бомбардировщиков. Они надвигаются на середину поля, где стоит Павлов с шахтерской лампочкой в руке. Взмах шахтерской лампочки — сигнал бомбардировщикам к взлету. Еще громче режут моторы. Взлет. Два огонька — красный на левой консоли и белый на хвосте, а за ними еще два таких же огонька — удаляются все больше и больше, они уже на уровне глаза, они уже выше, и теперь, чтобы следить за ними, надо глядеть вверх, закинув лицо.

Гаснут вдали бортовые огни, замирает в море гул моторов. Самолеты уходят в ночь.

Ущербный месяц выплывает из-за облаков. Аэродром остался далеко позади, и лунная дорожка покачивается вниз на крутой волне. Звездное небо трепещет над Черным морем. Самолеты идут тесным строем, не теряя друг друга из вида. Когда же луну окутывает серая вата облаков, все равно узнаешь товарища по огненному дыханию его машины — пламя рвется наружу из выхлопных патрубков. Литвинчук и Каспаров знают: вот — Шубиков, вот — Филимонов.

Снова выплывает месяц, но уже на исходе данные ему сроки, он побледнел от ночной бессонницы и вяло дотягивает свою ночную вахту. Сзади за идущими на запад самолетами брезжит неясное утро.

В кабинах Шубикова и Филимонова одновременно мигают сигнальные лампы. Командир бомбардировщика предупреждает истребителей: готовьтесь к отцепке! Четыре истребителя, отделившись от бомбардировщиков, прохлывают последние километры над морем и пересекают пенящуюся черту, которая в сереющем рассвете отделяет серую воду от серой земли.

Кают-компания, в которой три раза в день собирались на обычную трапезу летчики, сейчас выглядит совсем чужой, как будто ты ночью заявился в незнакомый гарнизон и дежурный по камбузу любезно предложил тебе постель. В столовой всегда народу много — все сходятся к определенному часу, столы заняты, шумно, весело. А тут накрыто лишь несколько столиков в углу, народу — только участники полета да командир и комиссар полка. Единственная оплывающая свечка озаряет неверным дрожащим светом этот ночной завтрак перед ночным походом.

Громко разговаривать не хочется — провожающие насторожены, а идущие в полет боятся выдать свое возбуждение: ведь не успеет догореть вот эта свеча, как Шубиков, Литвинчук, Филимонов и Каспаров будут над Дунаем, а что может быть увлекательнее и заманчивее для советского летчика, как не удар по глубокому фашистскому тылу?

Ночь накрыла аэродром, сгладила его границы, и замаскированные фары трехтонки сквозь узкую прорезь вырывают из темноты только метр-другой мелькающей в фиолетовом свете дороги.

На передней скамье тряской трехтонки сидят рядом комиссар Пронченко и летчик Филимонов.

Комиссар говорит:

— Сталин знает о вашем полете. На большое дело идешь, Филимонов...

Просто отвечает Филимонов комиссару:

— Если не вернусь, товарищ комиссар, значит — голова моя в мосту, но мост взорван.

На другой скамье трехтонки сидят командир полка и командир эскадрильи:

— Ну, Шубиков, как будто все учли.

— Майор, считайте — моста нет...

не мирится с жизнью под фашистской пятой, все те, кто борется с бандами кровавого Гитлера.

Форпостом немецкой агрессии на Черном море стоит румынский город Констанца. В Констанцу, главную базу румыно-немецких морских вооруженных сил, надо непрерывным потоком доставлять тысячи тонн военных грузов, но в шестидесяти километрах от Констанцы Дунай, обходя обломки древнего нагорья Северной Добруджи, круто поворачивает к северу и не к Констанце, а к Измаилу тянется устье мелеющей тут реки. Обездолена Дунаем Констанца: одна единственная железнодорожная ветка связывает ее с центром страны, с промышленными районами Румынии, с нефтяными промыслами и разработками, с главными железными дорогами, с дунайскими портами, пристанями и причалами.

У придунайской станции Черноводы, где ближе всего подходит к Констанце русло Дуная, эта ветка пролегает через мост.

Прямая, как стрела, эстакада еще в километровом отдалении от Дуная поднимает над топиями, озерами и островами полотно железной дороги, и, только пробежав 912 метров эстакады, поезд вступает на надводную часть моста, чтобы в 35 метрах над водой четким перестуком колес отмерить еще 750 метров ширины самой реки. Чередующиеся полукруглые и остроконечные фермы поднимаются выше всех зданий Бухареста, выше всех его фабричных труб: вершины стальных конструкций достигают 75 метров над уровнем Дуная.

При разработке своих стратегических планов немецко-румынское командование постоянно должно было учитывать Черноводский мост — важнейшее звено военных коммуникаций на огромном участке фронта, незаменимую деталь в наступательной машине фашизма, жизненную артерию, от бесперебойной, ритмичной работы которой зависел исход многих серьезных операций.

Этот вот Черноводский мост и собирался теперь разрушить капитан Шубиков.

В том, что именно это задание со дня

на день будет поставлено перед летчиками эскадрильи Шубикова, никто не сомневался, и в ожидании приказа про изводились учебные бомбометания по узким целям, нарисованным известкой на взрыленной земле полигона, а машины обеспечивались дополнительным оборудованием, увеличивавшим радиус автономного полета истребителей: предстоящий путь на Черноводы был длиннее пути на Констанцу.

Каждый участник будущей операции должен был на память знать все детали маршрута и все особенности цели, представлять себе расположение зениток, которые — по данным разведки — сплошным кольцом окружают мост, должен был заучить и запечатлеть в памяти возможные подходы к тому пункту, где у станции Черноводы извилистая лента Дуная пересекается на карте тонкой цепочкой железнодорожной магистрали. Схемы и силуэты моста переходили из рук в руки — летчики уже видели себя в грозном пике над стальным кружевом облюбованной ими цели.

В час ночи, перед самым вылетом, Шубиков закрывает окно и завешивает его одеялом, зажигает свет, надевает реглан и, захватив подмышку планшет-монстр, шлем и перчатки, направляется в летный кубрик.

— Вставайте, орлы! — громко кричит Шубиков с порога, но будить ему никого не приходится: летчики, согласно приказанию, лежат на койках, но по всему видно, что о сне никто из них и не помышлял — разве заснешь перед таким делом, когда все мысли устремлены вперед, в ответственный и радостный боевой маршрут.

— Пошли завтракать!

На этот раз на-пару с Шубиковым летит Филимонов, и майор провожает обоих к машинам.

— Споем? — говорит Каспаров Литвинчуку.

— Споем... — отвечает Литвинчук Каспарову.

Прислонившись к огромному, выше человеческого роста колесу бомбардировщика, скрытый им и темнотой, слушает

Шубиков отвечает спокойно, с твердой уверенностью.

Грузовик останавливается подле бомбардировщиков. Ночь не скрывает их очертаний от свыкшегося с темнотой глаза — плотные массы машин чернее самой ночи. Робко пробежит по крылу или фюзеляжу луч карманного фонарика, светлячком мелькнет в стороне другой фонарик в руках другого техника, перекликаются голоса — здесь во-всю кипит работа, заканчиваются последние приготовления.

Шубиков говорит летчикам:

— Сегодня положим Черноводский мост. Положить надо во что бы то ни стало. Помните: мост стоит дороже всех нас. Больше ничего не скажу. Сами все знаете...

Небо между Констанцей и Суллином затянато облаками. Между Констанцей и Суллином, используя облачное прикрытие, прорываются в глубь вражеской территории грозные советские машины. Капитан Шубиков ведет их на Черноводский мост.

Маршрут, однако, проложен не прямо на цель. Не доходя моста, надо отвернуть влево и, оставив мост по правую руку от себя, выйти на Дунай. В штабе предусмотрено все. Точно следуя маршрутной прокладке, машины должны оказаться в тридцати километрах от Черновод вверх по Дунаю, чтобы из тыловых глубин врага возможно неожиданной произвести бомбардировочный удар.

На высоте четырех тысяч двухсот метров, никем с земли не замечаемые, идут над Румынией маленькие шубиковские бомбардировщики. Сквозь разрывы облаков видят летчики вьющуюся среди бесчисленных протоков и островков ленту Дуная. Шубиков поворачивает вправо. Что может служить лучшим ориентиром, как не эта река, которая неизбежно приведет отряд черноморских истребителей к перекинутому через нее железным аркам Черноводского моста?

В дымке туманного утра на свинцовой глади реки увидел Шубиков знакомый по десяткам фотографий силуэт моста, не больший, пожалуй, чем фотографии и чертежи в штабном альбоме. В дев-

ственной чистоте утреннего рассвета контуры выступают рельефно и ясно. Вот каков он, Черноводский мост! На трех мощных устоях, восставших со дна Дуная, чтобы держать на своих каменных плечах непомерную тяжесть перекрестий, высятся полукружия и пирамиды гигантских ферм, поддерживаемых крестообразными опорами.

Разрыв зенитного снаряда блеснул впереди, преграждая Шубикову путь. Один... Второй... Третий...

Румынские зенитки ударили из своих орудий и пулеметов не потому, что были уверены в принадлежности противнику идущих на снижение истребителей. Из глубины страны, с юго-запада, могли итти ведь только свои. Но площадь огромного радиуса вокруг Черноводского моста была объявлена командованием запретной для полетов зоной, и зенитникам вменялось в обязанность открывать огонь по любому появляющемуся в этом районе самолету. И когда четыре снижающиеся машины показались над запретной для полетов зоной, румынская стража, следуя строгой инструкции, немедля открыла огонь. Зенитки били с берегов, с островков, со специальных люлек, подвешенных к мосту, и даже с наивысшей точки моста, с высоты 75 метров над уровнем реки застрочил автомат.

Вот она — цель, изрыгающая огонь и металл! Вот оно — счастье битвы! Вот она — жизнь, одновременно короткая и бесконечная, жизнь во имя родины, жизнь во имя жизни! Шубиков резко дает ручку от себя и переводит машину в пике — навстречу огню и навстречу металлу.

Угол пикирования — 85 градусов. Самолет несется к земле почти отвесно. Мотор приглушен. Сквозь кожу летного шлема после мгновенной, необычной в воздухе тишины к настроенному слуху прорывается вой встречного воздушного потока. Все ускоряется отвесное пике, вой переходит в свист, потом в пронзительный визг. Раздираемое машиной на клочья и отлетаемое куда-то вверх и назад воздушное пространство как бы кричит от боли и суеверного ужаса перед храбростью человека, кото-

рый подчиняет своей воле и заставляет служить себе законы земного притяжения. Центробежная сила взметает со дна кабины песок и пыль, и мертвый прах земли, пронесенной через сотни километров, ударяет Шубикову в лицо, бьет в стекла очков, пытается пробиться сквозь сжатые губы. Это земля напоминает летчику о себе, о своем грозном приближении, о своих непреложных законах, которые каждый раз снова и снова надо заставить повиноваться себе. И та же могучая центробежная сила отрывает летчика от сиденья, вырывает вон из кабины, и, если бы не ремни, перекинутые через плечи и охватывающие пояс, человек потерялся бы в бесконечном пространстве, как унесенные вихрем песчинки.

Громада Черноводского моста вся уместается в маленькой квадратной рамке во внутреннем кольце прицела. Цель и прицел совмещены еще при переходе в пике, и надо только не выпустить приближающийся с невероятной быстротой мост из рокового для него квадрата.

Самолет падает на цель с чудовищной, все увеличивающейся и увеличивающейся скоростью. Во что бы то ни стало нужно заставить его выдержать безукоризненную прямую линию стремительного падения. Малейший снос, малейший крен неизбежно нарушат точность бомбометания. Их нужно успеть устранить в те доли секунды, которые остаются до сбрасывания бомб.

Сквозь завывание стихии, сквозь огненные барьеры зенитных разрывов, прорывая сети трансирующих пулеметных очередей, напрягая мышцы, нервы, внимание, волю, ведет Шубиков к земле свою машину, пикирующую на Черноводский мост. Сноса нет, крена нет, руль поворота нейтрален. Четыреста метров отделяют самолет от цели, большой палец правой руки легко нажимает на кнопку сбрасывателя.

По меньшей мере еще пятьдесят или даже сто метров самолет продолжает итти к земле наравне с отцепленными от него бомбами. Несколько доль секунды бомбы летят вместе с самолетом, и Шубиков не выходит из пикирования, чтобы случайным толчком не изменить

направления их падения. Косясь на стабилизатор бомбы, торчащий из-под плоскости, Шубиков ждет, когда стабилизатор провалится, скроется из виду, — это будет означать, что бомба развила свою собственную скорость падения и устремилась вперед.

Стабилизатор исчезает. Теперь, в трехстах метрах от моста, можно и нужно выводить машину из пике.

Шубиков обеими руками оттягивает на себя сопротивляющийся рычаг управления. Укрощенная вновь стихия в бесильной ярости набрасывается на летчика, вдавливая ему голову в плечи, темнит глаза. Но тренированный организм быстро привыкает к давлению, и Шубиков снова дышит полной грудью, гул работающего во всю мощь мотора звучит в ушах победным гимном и глаза, приобретшие прежнюю зоркость, видят черный дым, стелющийся над мостом и поднимающийся в голубое небо.

Бомбы, сброшенные Шубиковым, упали в самую середину моста. Расщепленные шпалы и исковерканные рельсы летят во все стороны, крутятся в воздушном смерче. Мост вздрагивает, стальные конструкции рвутся вниз, вся в белых брызгах кипит река.

Грохот взрывов сливается с грохотом орудийных залпов. Теперь по пикирующим вслед за Шубиковым трем самолетами бьет и батарея у нефтеперегонного завода «Колумбия», расположенного на правом берегу Дуная, и пулеметы, установленные на крышах цехов цементного завода «Ориental». Оберега товарищей от встречающего их огневого шквала, вышедший из пике Шубиков на своем облегченном ястребке бреющим полетом проносится над зенитками. Захлебываются зенитные пулеметы, смолкает батарея. То там, то здесь мелькают черные фигурки разбегающихся в панике людей — нервы румынских артиллеристов не выдерживают штурмовой атаки. Град пуль преследует растерянного врага, валит на землю. Шубиков разворачивается вновь и видит, как бомбы Литвинчука, Филимонова и Каспарова довершают начатое им дело. Нет уже величественной стосорокаметровой фермы.

Ее разбитый скелет торчком торчит из вспененного взрывом Дуная. Река пылает. Бомбы угодили в магистраль проходящего под мостом нефтепровода, и черным, мутным потоком хлещет нефть из разорванной трубы.

По обе стороны разрушенного моста опускаются красные диски семафоров, путевые сторожа выбегают из своих будок с красными флажками тревоги, визжат тормоза останавливаемых поездов, испуганно воют паровозы. Эхо взрывов прокатывается по Дунаю, шевеля камыши, в которых хоронятся партизаны, отдаваясь в горных пещерах и прибрежных скалах, пробуждая новые надежды в сердцах, твердых, как эти скалы.

Окончен бой. Шубиков оглядывает кабину, поправляет шлем, протирает стекла очков. Три самолета следуют за ним вдоль береговой черты. Как чувствуете вы себя, боевые друзья? Орлы! Орлы! Хорошо бомбили, товарищи! Отлично бомбили!

Возвращения шубиковской группы на аэродром ожидали к 10—11 часам утра. Наступил полдень, а Шубикова все нет. Без конца подходят летчики к старшим лейтенантам Гаврилову и Косолапову — командиру и штурману флагманского бомбардировщика, но что могут ответить им не менее обеспокоенные водители воздушного корабля? Они только забросили истребителей к вражескому берегу и, ложась на обратный курс, проводили их долгим любовным взглядом. Павлов и Пронченко не отходят от телефона — все напрасно: и в штабе соединения нет никаких известий. Кому могло притти в голову, что четыре летчика, возвращающиеся из глубокого тыла врага после блистательной победы, приземлившись на промежуточном аэродроме для заправки, узнали о налете самолетов противника на наш плавдок и поднялись в воздух для нового боя и новой победы? Заметив, наконец, четыре ястребка на подходе к своему аэродрому, Павлов еще ничего не знал ни об исходе битвы за Черноводский мост, ни о бегстве «юнкерсов» и «мессершмиттов», отогнанных от советского побережья.

В своих будничных летных доспехах, скинув кожаные шлемы с разгоряченных голов, идут окруженные друзьями четыре героя. Их приветствуют летчики, дежурящие возле своих машин, техники у капониров, краснофлотцы, высунувшиеся из кабин стартеров и правщиков, зенитчики из пулеметных гнезд и, наконец, буфетчица Лида, выбежавшая на порог кают-компании.

На столе перед Шубиковым стоит хрустальная ваза с грушами. Сверкающие грани холодного хрусталя отражают желтизну спелых плодов — даяния крымского августа. Этот подарок Бориса Ивановича радует Шубикова не меньше, чем поздравительная телеграмма командующего Черноморским флотом, которую протягивает ему через фрукты и цветы рука майора Павлова.

Павлова вызывают к телефону. Возвратившись, он говорит:

— Звонили из штаба. Наша воздушная разведка фотографировала мост. Снимки подтверждают отличные результаты бомбометания. Стосорокаметровая ферма рухнула в воду. Теперь не скоро удастся восстановить мост. А мы на-днях еще ему добавим...

— Есть, добавить мосту! — подхватывает Литвинчук. И, подняв бокал, Литвинчук чокается с лейтенантами Данилиным, Скринником и Кузьменко, которым предстоит участвовать в будущих операциях на «подвесках».

Приказ о вторичном налете на Черноводский мост Шубиков получает через два дня. Своего имени он в приказе не находит.

— Да, — подтверждает Павлов, — вы, капитан, на этот раз не полетите: еще много больших дел предвидится, и дважды по одному маршруту вам идти незачем. Группу поведет лейтенант Литвинчук.

По твердому, не допускающему противоречий тону Павлова Шубиков понимает, что возражать бесполезно, но ночью перед самым стартом майору докладывают, что лейтенанту Литвинчику нездоровится. Осветив кабину карманным фонарем, майор замечает проступающую у лейтенанта над теплым шарфом белую марлевою повязку вокруг шеи.

— Вы больны?

Литвинчук невнятно произносит:

— Да нет же, товарищ майор... Пу-
стяки... Все прошло...

— У врача были?

Литвинчук молчит. Не может же он сказать командиру полка, что он не пошел к врачу потому, что градусник, которым он измерил себе температуру, показал 39° и врач неминуемо воспретил бы ему полет.

— Все понятно, — говорит Павлов. — Немедленно вылезайте из машины!

Шубиков помогает своему лейтенанту спуститься на землю и ласково треплет его по щеке. Щека под ладонью горячая, горячая. Совсем расхворался парень, а ему так хотелось вести машины к Черноводам. Но оно в общем и лучше: оставаться дома командиру эскадрильи было невозможно, куда спокойнее полететь самому, быть вместе со своими орлами.

— Разрешите, товарищ майор?

— Давай, Арсений Васильевич. Опять твоя взяла.

Машины взлетели, машины прошли море. Но на этот раз даже отцепляться от бомбардировщиков пришлось под зенитным огнем румынских береговых батарей. Шесть сливающихся с рассветным небом маленьких скоростных бомбардировщиков, не размыкая строя, проходят на высоте четырех тысяч метров над укрепленным берегом.

Знакомый изгиб Дуная...

Зенитчики, охраняющие мост, предупреждены о подходе к ним советских машин, и стены заградительного огня встают вокруг моста еще до того, как его исковерканные фермы пойманы в рамку прицела. Подле моста Шубиков видит громадную баржу с подъемными кранами и экскаваторами.

— Пловучая мастерская. Рано чинить задумали! Как бы не пришлось ремонтировать самую ремонтную мастерскую!

Шубиков первым переводит машину в пике. Последним пикирует Данилин. Взрывная волна от бомб, снова рушащих перекрытия моста, ударяет о плоскости его самолета, подбрасывает машину вверх. Черный дым опять завлаживает Дунай.

Выходя из пике, Данилин оттягивает ручку на себя и выравнивает машину. Кто это молнией мчится на него? «Мессер»? Нет, свой... В тридцати пяти метрах от Данилина пронесится Шубиков. Он обрушивается огнем своих пулеметов на зенитки. Спасибо, товарищ командир! Прикрыл меня на выходе.

Где Каспаров? Где остальные?

Низко над Дунаем, в столбах дыма и пламени, штурмуют черноморцы пловучую баржу-мастерскую и огневые точки врага. Пламя и дым остаются позади, летчики ведут свои машины в десяти метрах от земли над жалкими клочьями полей и паутиной узких белесых дорог.

Эскадрон румынских кавалеристов на рысях пылит по дороге. Лошади встают на дыбы, сбрасывают всадников на землю. И никто из румынских кавалеристов не успеваает увидеть красные звезды на плоскостях самолетов. Остекленелые, мертвые глаза их смотрят в уже пустое небо.

6. ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Сырая октябрьская ночь близится к концу. Дождь прекратился, но мелкая, злая морось пронизывает тело. Поднят воротник на мокром реглане, капли с козырька фуражки падают на лицо, непривычные галоши сжимают через ботинок ногу. Холодно и неудобно Шубикову сидеть сейчас на гранитном валуне, оттянутом тягачом в сторону от площадки, расчищаемой под полевой аэродром. Мелкая сетка дождя проступает на фоне далекого фронтного зарева, которое чем-то напоминает Шубикову лесной пожар где-нибудь в родных краях. Фронт близко подошел к Крыму, и частые зарницы артиллерийской подготовки особенно зловещи в такую глухую дождливую ночь. Борис Иванович скоро закончит осмотр, вылезет из-под брезента, которым накрыты вместе и он, и мотор. Можно будет пойти с ним в землянку, чтобы хлебнуть горячего чаю и покурить. Впрочем, почему бы не закурить и сейчас — огонек спички можно прикрыть ладонью, и, вообще, от кого маскироваться в такую гадкую погоду?

Шубиков шарит рукой по карману жожанки. Спички... Ключи от запертой

квартиры... Пальцы нащупывают какую-то железку, и Шубиков не сразу вспоминает, что это такое.

Железный крест лежит на ладони Шубикова. Маленький трофей одной из его побед. Вместе с Литвинчуком он как-то под вечер сбил над морем «Хейнкеля-111».

Краснофлотцы нашли выпрыгнувшего из горящей машины немца в море, недалеко от берега. Он сидел на камне, окруженный волнами, поджав ноги и стуча зубами. У него было оружие — «вальтер» и «маузер» с полными обоймами патронов. Он сам помог краснофлотцам отстегнуть кобуры с пистолетами, сам отстегнул железный крест и положил его на стол перед Шубиковым.

— Почему ты сдался в плен? — через переводчика задал Шубиков немцу единственный, вдруг заинтересовавший его вопрос.

Пленный, раболепной, угодливой улыбкой выражавший готовность перенести любые унижения и отвечать на любые вопросы, с недоумением взглянул на Шубикова: какой глупый вопрос после того, как он меня сбил?

— Ich verstehe diese Frage nicht, was sollte ich denn tun?

— Он не понимает вопроса: что, собственно, ему оставалось делать, — помог Шубикову переводчик.

— У него было два пистолета. Он должен был отстреливаться!

Шубикову казалось непонятным то, что было так абсолютно понятно немцу.

— Ich verstehe diese hohe Philosophie nicht! — пожал плечами немец и, поняв, что убивать его не собираются, развалился на стуле. — Geben sie mir, bitte, eine Cigarette.

— Он говорит, что не понимает всей этой высокой философии, и просит папироску, — рассмеялся переводчик.

— Дайте, и пусть уведут этого поганого «рыцаря»...

Пленного увели. На столе остался железный крест...

Сейчас, сидя октябрьской ночью около машины на сыром валуне и держа в руке железку гитлеровского ордена, было неприятно вспоминать о разговоре с пленным.

Жизнь и смерть! Разгромим фашистов, кончится война, надо будет считать, что толкуют философы о жизни и смерти. Вероятно, не одна сотня книг написана... Но Шубиков знает, что такое жизнь и смерть! В его эскадрилье вырос летчик Рыжов, первым испытанный «подвеску» в Москве. И тот же Рыжов первым на Черном море протаранил фашистскую машину — такого же «Хейнкеля-111». Война есть война. Шубиков с Литвинчуком сбили одного «хейнкеля», но другой «хейнкель» подбил машину Рыжова. Немец со скинутаго в море бомбардировщика выбросился на парашоте и уцепился скрюченными пальцами за выступающий из воды покрытый зеленой склизкой плесенью камень. Жизнь, за которую он цеплялся, была такой же тинистой и склизкой. Немец испугался огня, который охватил его самолет, немец испугался воды, которая могла его поглотить, немец испугался смерти... Рыжов не испугался ни огня, ни воды. Жизнь, которую он знал, которую любил, которую защищал, была сильнее смерти. Рыжов вел подбитый горящий самолет на машину уже торжествовавшего врага. Рыжов протаранил фашистский бомбардировщик и потом, раненный и обожженный, шесть часов боролся с волнами, пока его не подобрал проходящий катер!

У Литвинчука шестьдесят две пробоины в машине было, когда второй раз на Констанцу ходил плавдок бомбить, и ничего, отбил от «мессеров», пришел домой и еще злее воюет. Злости сейчас у всех хватает. Чего только не творят летчики на подвеске! Вчера звонили из штаба армии: «Пришлите подвеску. Надо фашистскую переправу уничтожить». Сегодня опять звонят из штаба дивизии: «Фашистская батарея бьет по Перекопу. Необходимо подавить. Срочно высылайте подвеску!» — Литвинчук и Филимонов ходят гордые, дважды в день вылетают: мы теперь — орденосцы, нам двойная норма полагается...

Литвинчук, Филимонов, Данилин всю воюют, а мне что — воевать не положено? — Нужно будет — полетишь, — говорит Павлов. Даже приказ полков-

ника показал: капитану Шубикову в каждом отдельном случае вылеты производятся с особого разрешения командира полка.

...Грязная железка лежит на ладони Шубикова. Уже рассвело, и паучок свастик в середине креста, ночью совсем незаметный, выполз из темноты, как тарантул из своей норки. Фашистская свастика жалит руку, и Шубиков брезгливо бросает крест в глубину кармана.

— Дай-ка, Борис Иванович, закурить, — говорит он.

Линчевский выбирается из-под брезента и, подойдя к капитану, передает ему свой старый клеенчатый портсигар.

Шубиков закурил и пошел к бомбардировщику, под которым висели ястребки Литвинчука и Данилина. Лейтенанты должны были идти на выполнение боевого задания — подавлять фашистскую дальнюю батарею.

Оставшись один, Линчевский аккуратно зачехлил мотор и, как во все последние дни, когда капитан не вылетал, пошел в столовую, чтобы позавтракать в положенный час. На полпути его догнал посланный Шубиковым краснофлотец.

— Капитан приказывает немедленно идти к машине...

Шубиков встретил Линчевского у капопира. Он пристегивал парашют.

— Быстрей, Борис Иванович! Расчехляй машину. Слетаю посмотреть, что делается на фронте.

Поднятые бомбардировщиком Литвинчук и Данилин отцепились над самым аэродромом. Шубиков взлетел сразу за ними, и три машины пошли на Перекоп.

На ящике из-под патронов чернела оставленная капитаном фуражка. Линчевский стал дожидаться командира.

Услышав гул самолетов, он встал и привычным глазом скоро нашел в воздухе две приближающиеся машины. Две... Третьей он не нашел. Что-то случилось с Литвинчуком или Данилиным...

Два самолета зашли на посадку. По номерному знаку на хвосте Линчевский узнал машину Литвинчука. Он узнал машину Данилина... И не было машины

с красным двенадцатым номером, машины, на которой летал капитан...

Литвинчук и Данилин рулили к своим капопирам.

Высоко поднимая длинные ноги, бежал Линчевский по аэродрому. Глинистая грязь сразу же облепила сапоги, и Борису Ивановичу казалось, что ноги не слушаются его, что он бежит очень медленно. Но он бежал очень быстро.

Линчевский остановился возле лейтенантов и молчал: невозможно было выразить словами вопрос, который жег губы. Он не произнес ни слова, но услышал страшные слова:

— Капитан не возвращался?

Это спросил Данилин.

Все тело обмякло, и Борис Иванович едва нашел в себе силу, чтобы отрицательно мотнуть головой.

Литвинчук вздрогнул и спустился в землянку командного пункта.

— Что случилось? — спросил комиссар, и Литвинчук рассказал о том, как обрадовались юни с Данилиным, увидев неожиданно взлетавшего вслед за ними капитана. Капитан привел их на линию фронта, капитан вместе с ними прошел сквозь зенитный огонь, и два лейтенанта поняли, что командир на своем истребителе прикрывает их маленькие бомбардировщики: был близок фашистский аэродром, и «мессершмитты» могли помешать бомбовому удару. Переводя свои машины в пики на фашистскую дальнюю батарею, Литвинчук и Данилин увидели, что именно туда, откуда можно было ожидать появления вражеских самолетов, и устремился вдруг Шубиков. Батарея взлетела на воздух, Литвинчук и Данилин вышли из пики. Где дерется командир? Не нужна ли командиру помощь? Маневрируя среди зенитного огня, носились над линией фронта два самолета. Куда отвлек или куда загнал капитан поднявшихся «мессеров», где ведет он бой? Но не нашли лейтенанты своего командира, как не увидели они в воздухе и ни одного «мессершмитта». Долго еще носились над линией фронта два лейтенанта, пока не иссякло горючее в баках.

— Надо доложить командиру полка,—

сказал оперативный дежурный, когда Литвинчук замолчал.

— Обождите докладывать, — остановил его комиссар, — попробуем связаться с другими аэродромами... Ведь мы говорим о Шубикове... Не может же этого быть!

Оперативный вызвал один аэродром, второй, третий...

— Нет, — отвечали встревоженные голоса. — Капитан Шубиков у нас не сиделся.

— Все! — сказал оперативный, с безнадежностью вешая трубку. — Я доложу командиру полка.

— Обождите, — повторил комиссар. — Повременим еще. Если надо будет, я сам скажу. Вечером...

Наступил вечер...

Всю ночь просидели командир и комиссар на застланных койках. Они говорили о жизни и смерти. Они говорили о капитане Шубикове. Они говорили о Констанце, о Черноводах, о Перекопе. Они говорили о храбрости, не знающей преград, о скромности, украшающей человека, о преданности родине, рождаю-

щей героя. Они говорили о жизни и смерти капитана Шубикова.

Утром принесли из штаба дивизии найденный бойцами среди обломков сгоревших самолетов орден со строгим ленинским обликом, обгоревшую красную книжечку — партийный билет члена Всесоюзной Коммунистической Партии большевиков Арсения Васильевича Шубикова... Командир и комиссар встали с неразобранных коек и пошли на аэродром.

У пустого капонира, из которого вели на летное поле две затвердевшие колеи, на гранитном валуне сидел окаменевший в своем горе Борис Иванович. Рядом с ним на ящике из-под патронов чернела фуражка, оставленная капитаном.

Комиссар окликнул Бориса Ивановича. Борис Иванович встал.

— Нет капитана Шубикова, — глухо сказал он.

И Павлов, то ли обращаясь к Линчевскому, то ли думая вслух, чуть слышно произнес:

— Он не знал разницы между страшным и нестрашным. Он сам не знал, какой он хороший, какой он герой...

Враги культуры

И. ЗИЛЬБЕРФАРБ



С незапамятных времен германские захватчики пытались оправдывать свои разбойничьи войны против соседних народов различными, якобы идейными мотивами. В средние века под предлогом насаждения христианства они истребили палабских славян и присвоили себе их земли. Одра и Лаба превратились в Одер и Эльбу, а от живших на берегах этих рек до самого моря славянских народов остались говорящие о прошлом названия городов: Берлин — от славянского «берла» (жезл), Кольберг — славянское Колобрег (около берега), Любек — от славянского «любить», Шверин — славянское Зверин, Штеттин — от славянского «штетина» (щетина) и другие. Под тем же предлогом «защиты христианства» тевтонские рыцари выступили в XV веке против тогда еще языческой Литвы, а в своих грабительских войнах против Великого Новгорода, который был уже христианским, они выступали как «носители истинной веры». Точно так же они организовали международный поход феодальной реакции против чешского народа, тянувшегося к освобождению под знаменем Яна Гуса и под военным водительством Яна Житка, оправдывая этот гнусный поход необходимостью искоренить еретические заблуждения чехов. В новейшее время, когда все европейские народы были давно уже христианами, да и вообще так называемые религиозные войны стали уже анахронизмом, германские хищ-

ники изыскивали новое оправдание для своих разбойничьих войн: они придумали «теорию» о якобы культурном превосходстве немцев над всеми другими народами и о вытекающей отсюда «культуртрегерской» миссии Германии. Под этим флагом выступали они и в войне 1914—1918 г.г., особенно в отношении России. При этом германские империалисты кайзеровской формации распространяли живую легенду о том, будто они освобождают Польшу и Украину от гнета реакционного царизма и несут им европейскую культуру.

Гитлеровцы, эти германские империалисты новейшей формации, продолжают традицию разбоя и грабежа, прикрывая это «идейностью». К прежним лживым лозунгам они прибавили новые, вытекающие из социальной демагогии гитлеризма и его расовой теории, которая служит универсальным «оправданием» для всех преступлений коричневых хищников.

Геополитика, — фашистская лженаука международного бандитизма, устами Руперта фон-Шумахера, одного из самых видных своих представителей, автора известного «Букваря Германии», утверждает, что наряду с государственными границами Германии существует еще «германская культурная почва» и «германская народная почва». Третья империя должна, поучает он, быть не только государственно-правовым понятием, а должна охватывать всю германскую народную и культурную почву. Далес гит-

леровский очаг мракобесия и варварства объявляется оплотом европейской культуры, которой, мол, вне Германии и не существует; на Западе, где все «импровизированно» и «поверхностно», совершенно «отсутствуют внутренние переплетения между человеком, культурой и ландшафтом»; на Востоке же, «где отсутствие канализации, водопровода и света—типичное явление», все пребывает в сером, бесформенном состоянии. Отсюда — «закономерность» требования расширения границ «Германского культурного пространства» с целью осуществить «культуртрегерскую миссию» германской «высшей расы». Так, по словам Шумахера, должна быть создана «Великогермания», населенная не только немцами, но и рядом других народов, подчиненных германскому «культурному» влиянию.

Поглощая Австрию, гитлеровцы велелично говорили о восстановлении культурного единства германского народа. Захватывая Чехословакию, они кричали о защите германской культуры в Богемии и Моравии, этих «областях исконной германской культуры». Свое вторжение в Польшу и завоевание этой славянской страны они сопровождали криками о «защите германских братьев по расе» и восстановлении «исконной германской культуры» в «Вартелянде» и в других «издревлегерманских землях на востоке», которые немцы, мол, должны освободить от «польской оккупации». Захват Дании, Норвегии, Голландии и Бельгии и насаждение в этих странах немецко-фашистского оккупационного режима выдавались за «культурную опеку» над этими странами, населенными «младшими братьями по расе». Завоевание и порабощение Франции они пытались выставить как благородную помощь этой «стране германского племени франков» в деле «культурного очищения» ее от «осквернивших ее иудео-галло-негроидов». Продолжая свою ожесточенную борьбу против Англии и США, коричневые агрессоры утверждали, будто они ведут оборонительную войну против «возглавляемой мировым еврейством власти золота» во имя возрождения европейской культуры, якобы извращенной

и выродившейся в этих странах под чужерасовыми влияниями. Наконец, свое бандитское нападение на Советский Союз они выставляют как борьбу против большевизма, который, мол, являет собой величайшую угрозу самому существованию культурной Европы.

В середине октября 1941 года, в момент, когда гитлеровские полчища готовились захватить Москву, а Гитлер и его банда собирались уже торжествовать полную и окончательную победу над СССР, вожак так называемого Германского трудового фронта Роберт Лей заявлял, что немцы призваны дать европейскому континенту «новый импульс», «новую цель» культурной жизни.

Торжество гитлеровцев оказалось преждевременным. Как известно, их негодные попытки завоевания и порабощения СССР при содействии европейских народов позорно провалились. В странах Европы никто, кроме кучки продажных авантюристов и уголовных преступников, не вступил в столь широко рекламировавшиеся «антибольшевистские легионы». Не помогли ни крикливые призывы Геббельса и геббельсят, ни увещательные речи Риббентропа и его «дипломатических» агентов, ни выставка так называемого «большевистского варварства», созданная по замыслу пресловутого Розенберга, ни угрозы самого Гитлера и его ставленников в «союзных» странах.

Но все же фашистский «фюрер», как и подобает германскому солдафону, с наглостью, которая соперничает с его тупостью, продолжает без конца повторять свою смехотворную болтовню о так называемой «великой исторической миссии» современной Германии как «защитницы культурной Европы». В выступлении в «рейхстаге» 11 декабря 1941 года, уподобляя свою разбойничью войну против Советского Союза на востоке и англо-саксонских демократий на западе войнам античной Греции против персов и Рима против Карфагена, борьбе европейских народов против нашествия гуннов и монголов, Гитлер утверждал, будто «и ныне Германия борется не ради себя, а ради всего нашего континента». В своих речах 30 января и

26 апреля 1942 года Гитлер снова повторял свое утверждение, будто он ведет войну «не только ради германского народа, но также и ради других народов Европы».

Двуногие чудовища, ввергнувшие Европу в бездну величайших бедствий, истребившие или изгнавшие цвет европейских народов, принесшие этим народам голод и нищету, бесправие и рабство, гнуснейшие издевательства и насилия, эти озверелые моральные выродки, разрушающие все лучшее, что создано было на протяжении веков творческими усилиями передовых людей культурной Европы,—эти гнусные носители международного разбоя смеют претендовать на роль носителей европейской культуры! Можно ли представить себе что-либо более циничное, более нелепое, более смехотворное?!

Всему миру известно враждебное отношение Гитлера и его сообщников к культуре свободных народов. Гитлеровцы, эти социальные отбросы современности, уже давно на деле доказали, что они не имеют ничего общего ни с историческим наследием цивилизованного человечества, ни с прогрессивными устремлениями его дальнейшего культурного развития.

Обуянные расовым безумием, увлеченные дикими захватническими притязаниями, гитлеровские насильники никогда не допускали никакой человеческой культуры, кроме их звериной человеконенавистнической «культуры крови». Эти «культуроборцы» всегда видели величайшую опасность для себя в человеческой культуре и в творящем ее разуме. Они звали давно к утверждению дикой разрушительной силы, нового варварства. «Ну, да, мы варвары и хотим быть варварами! — заявлял фашистский «фюрер». — Это — почетное звание... Современный мир подходит к концу. Нашей же единственной задачей является разрушение». «Отступитесь, — вопил лжеученый «культурфилософ» Эрнст Крик, — от вавилонского культуростроительства!.. Пусть нас клянут варварами! Мы не хотим культуры!..»

Гитлер «освободил» своих приверженцев от культуры и от всего, что с нею

связано для каждого современного человека. Он попытался перечеркнуть столетия культурного развития и вернуть Германию вспять, к варварству и зверству. Но, уничтожая культуру, которая, будучи внутренним достоянием человека, связана с человечностью и противостоит зверству, Гитлер сохранил элементы внешней цивилизации, поскольку она создает известные жизненные удобства для «народа господ» и снабжает их усовершенствованной техникой, необходимой для действенной практики международного разбоя и грабежа. Гитлеровец — это не первобытный варвар из тевтобургских лесов, обросший волосами, одетый в звериные шкуры и орудуемый дубиной. Гитлеровец — это варвар XX столетия, гладко выбритый и надушенный, одетый в хорошо сшитый костюм и владеющий новейшей техникой человекоуничтожения и разрушения. Гитлеровцы не нуждаются в Гете и Лессинге, Шиллере и Гейне, Гумбольдте и Эйнштейне, но зато им нужны круппы и маннесманы, мессершмитты, гейнкелы и юнкерсы. Не случайно фашистская газета «Дер Нойе Таг», выступая в номере от 19 апреля 1942 года со статьей о «ненужности культуры», в то же время отстаивает необходимость сохранения цивилизации. Автор статьи, некий Франк Гауптман, жалеет, что «мы накопили неисчислимые сокровища духовных ценностей», такие, как статуи, картины, здания, книги, научные теории. Культура для этого коричневого варвара — только «истертое слово», и «мы должны обойтись без нее». «Нельзя ли, — вопрошает Гауптман, — было бы уничтожить все это, и жизнь миллионов людей продолжалась бы как раньше, и только несколько художников, поэтов, мыслителей, людей не от мира сего ощутили бы потерю?» С точки зрения гитлеровского писаки, нужно сохранить только некоторые технические приспособления, высшие же достижения культурной жизни должны быть отброшены и отняты у народных масс. «Освещение квартир, заводов, улиц нужно всем, — пишет он, — и всех людей можно научить пользоваться освещением, а культурные потребности не свойственны

массам. Не все люди способны к восприятию культуры. Наслаждение ею доступно лишь части человечества». Наукой и знанием должны владеть только «высшие слои», остальная же масса должна прозябать в невежестве, — только это обеспечит господство фашистской «высшей расы» над поработанным человечеством.

★

Расправившись с культурой в самой Германии, коричневые варвары взялись за разрушение и искоренение культуры в других странах Европы. Итоги этой разрушительной деятельности, которые мы можем подвести сейчас, после более чем двух с половиной лет вооруженного насаждения гитлеровского «нового порядка» в Европе, поистине потрясающи. Трудно еще в полной мере выявить тот колоссальный ущерб, который нанес воинствующий гитлеризм европейской культуре, но и то, что стало достоянием мировой общечеловечности, воочию показывает, какую страшную угрозу культурному человечеству представляет гитлеровский империализм. Гитлеровцы не могут успокоиться, пока существуют еще свободные народы, живущие самостоятельной культурной жизнью.

Как и в других областях своей дьявольской деятельности, так и в деле удушения и искоренения национальных культур гитлеровцы прибегают к различным приемам. Эти приемы варьируются в зависимости от силы сопротивления того или другого народа германским захватчикам, в зависимости от наличия или отсутствия в той или иной стране духовной «пятой колонны» предателей родной культуры.

В странах, которые «добровольно» стали вассалами гитлеровской Германии (Италия, Венгрия, Румыния, Болгария, Финляндия) либо искусственно созданы в результате германского завоевания (Словакия, Хорватия), мы видим усиление реакции, попытки перенести в эти страны те формы и методы удушения культуры, которые «изобрели» фашистские бандиты в самой Германии. В некоторых из этих «союзных» фашистской Германии стран культура и ее передовые носители уже давно были объектом

преследований, но процесс подавления культурного прогресса стал теперь развиваться в широком плане, под единым руководством фашистского государства. Особенно усиленно насаждаются здесь расистские бредни в специально приносившихся для той или иной страны вариантах, и этим путем утверждается «культурная» гегемония германского фашизма.

В Италии торжество фашизма уже давно нанесло существенный ущерб культурной жизни. Рост милитаризма и империализма и подчинение всей жизни итальянского народа делу организации авантюристических завоевательных войн привело к крайнему упадку и без того не блиставшей высоким уровнем итальянской науки и образования, к вырождению итальянской литературы и искусства. Наиболее ярким выражением устремлений итальянского фашизма в области культуры был опубликованный в 1940 году новый «Футуристический манифест» Ф. Т. Маринетти, ставшего в Италии Муссолини «академиком». Манифест провозглашает «новую эстетику войны», воспекает безжалостное истребление и разрушение, как «звездит жестокости», прославляет бездушный машинизм как великолепное орудие современной войны и дает программу этой противочеловечной фашистской «культуры» с ее «аэроживописью», «аэропоэзией», «аэромузыкой» и «аэронаукой». Но итальянский фашизм не достиг еще пределов культурного вырождения, когда связал свою судьбу с фашизмом германским. Итальянские фашисты до того, как они, связавшись с Берлином, потеряли самостоятельность, не отличались еще таким крайним членовечеством, как гитлеровцы с их «расовой теорией». Мало того, итальянские фашисты отвергали расизм и на страницах своей газеты «Лаворо фашиста» называли «теорию», которую проповедывали «господа с севера», «прямым доказательством невежества», «психологией случайного пункта», «мировоззрением для кур и лошадей». Но, став союзниками и слугами Гитлера, они быстро восприняли его вздорную «веру крови», издали у себя «расовые зако-

ны» и на их основе учинили в своей стране разгром культуры по германскому образцу.

Такое же усиление культурной реакции и расистское одичание распространилось в Венгрии, Румынии и других «союзных» фашистской Германии странах. Примером может служить нынешняя Румыния. По сведениям румынской прессы, с тех пор, как в этой стране господствуют ставленники фашистской Германии, опирающиеся на германские войска, культурная жизнь совсем захла. За последнее время в Румынии перестали издавать художественную и научную литературу. Выпускается только фашистская пропагандистская литература (преимущественно сочинения по расовой теории), забившая все книжные магазины. Все инакомыслящие (вернее — все вообще мыслящие) подвергаются жестоким преследованиям, в связи с чем в стране начал ощущаться недостаток... тюрем. По распоряжению правительства, некоторые школы (в Слагине, Васлуе и других городах) закрыты и здания их переделаны в тюрьмы. Многие другие румынские школы превращены в казармы для германских и итальянских солдат. Румыния наводнена гастролирующими германскими «учеными», которые читают лекции об «очищении расы», о «расовом единстве нации» и т. п. Недавно на заседании румынской Академии наук некий «доктор» выступил с докладом на тему: «Стерилизация как биологический фактор защиты расы»: ссылаясь на германскую практику, он рекомендовал ввести эту систему и в Румынии, уверяя, что это было бы «началом новой эпохи румынского расизма». Ученые, открыто выступающие против превращения Румынии в вассала гитлеровской Германии и против участия страны в разбойничьей войне, подвергаются жестокому преследованиям. Так, например, Ион Георгиу, профессор Бухарестского университета, был недавно приговорен военным судом к 6 годам каторги.

★

В тех странах, которые не захотели добровольно стать орудием для осуще-

ствления империалистических планов германского фашизма и оказали сопротивление гитлеровским агрессорам, гнет насильственной фашизации и подавление свободной национальной культуры ощущаются еще сильнее. Примером может служить миролюбивая культурная страна Севера—Норвегия.

С первых же дней оккупационного режима в Норвегии фашистские мракобесы ознакомили свою «культурную» деятельность запрещением произведений крупнейших норвежских и иностранных писателей, в том числе — произведений лауреата Нобелевской премии, известной норвежской писательницы Сигрид Унсет. Арестованы видный норвежский писатель Эверланд, ряд ученых, ректоров университетов и средних школ, учителей, журналистов, художников, артистов и других норвежских деятелей культуры, которые, в отличие от опозорившего свои седины дружбой с Квислингом Кнута Гамсуна, не захотели стать предателями своего народа, не захотели стать проводниками фашизации родной страны. Многие из этих деятелей норвежской культуры заключены в концлагери и подвергнуты всевозможным пыткам. Ректор университета в Осло Дидрик Арун Сейн брошен в концентрационный лагерь за то, что университет стал рассадником «вредных настроений», а председатель студенческого союза арестован и жестоко избит за то, что из 1.200 членов этого объединения только 6 голосовали за Квислинга. Преследованиям подвергаются также представители патриотического норвежского духовенства (епископ Берграв и другие), не желающего мириться с оккупационным и квислинговским режимом.

Оккупанты всячески издеваются над норвежским народом, его историческим прошлым, его культурой. Так, в одном из норвежских городов они переименовали улицу Нансена в улицу Геринга. Мероприятия оккупационных властей и их ставленника Квислинга вызывают сильное недовольство со стороны интеллигенции. Широкие слои населения всячески выражают свое сочувствие последней в ее борьбе против фашистских

оккупантов в защиту норвежской культуры. Навязываемые новыми властями лекции, газеты, фильмы и т. п. бойкотируются. Учащиеся и педагоги отказываются пользоваться учебниками, проповедующими расовую теорию и прочие человеконенавистнические воззрения фашистских головорезов. Массовые демонстрации учащихся против мероприятий фашистских властей вызвали резкие нападки органа оккупантов на «дурное поведение незрелых юношей». Это послужило сигналом для погромов в школах и избиения «неблагоденных».

Национальная культура и ее передовые носители преследуются фашистскими оккупантами также в маленькой Дании, свобода которой так грубо попрана гитлеровским сапогом. Протесты датской интеллигенции против удушения национальной свободы и культуры вызывают преследования со стороны оккупационных властей. Среди арестованных датских деятелей культуры находится знаменитый писатель Мартин Андерсен-Нексе.

Таково же положение в Голландии. И здесь оккупационные власти стали громить национальную культуру на основе своих «расовых» законов. Когда это вызвало протест голландского студенчества, они закрыли все высшие учебные заведения Дельфта и Лейдена. Весь преподавательский состав юридического факультета старейшего университета в Утрехте был увезен в Германию и брошен в концентрационный лагерь. Оккупанты намерены заменить в голландских школах обучение детей на родном языке, ибо голландский язык, по их мнению, лишь «наречие немецкого языка». В Роттердаме немцы избивали дубинками голландских детей, которые несли цветы на могилы жертв германских бомбардировок. Гитлеровцы хотят вообще уничтожить самостоятельное национальное государственное и культурное существование голландского народа и превратить Голландию в «Вестмарк», т. е. западную пограничную провинцию «Великогермании». Так выглядит «культурная опека» германских фашистов над теми

народами, которые они объявили «расово-родственными».

В соседней Бельгии, куда германские фашисты, по их лживым заверениям, «лишь мимоходом зашли на короткое время», положение еще хуже. Вместе с полным политическим и экономическим порабощением, с разгулом террора, безработицей, голодом и нищетой бельгийский народ испытывает и национально-культурное угнетение. Вся культурная жизнь Бельгии полностью находится под контролем оккупантов и подвергается насильственному онемечиванию. Книжные магазины завалены фашистской литературой, печать переполнена перепевами наглой и грязной германской пропаганды, в кино демонстрируются только немецкие фильмы. Бельгийцы бойкотируют всю эту омерзительную «духовную снедь», на которой явно проступает грубый штамп «Сделано в Германии», и нередко открыто проявляют свое презрительное отношение к ней. В результате — усиление террора, особенно в отношении бельгийской интеллигенции.

Пытаясь завоевать симпатии некоторой части бельгийского народа, германские фашисты развернули широкую пропаганду среди фламандцев, которые мол, «расово-родственны» немцам. Эта пропаганда, обманувшая было вначале некоторые отсталые слои населения, вскоре окончательно провалилась, когда реальная политика ограбления страны фашистскими захватчиками дала себя почувствовать. Но гитлеровских шулеров это нисколько не смутило, и они продолжают свои негодные, подчас просто смехотворные попытки. Так, под наущению непрощенных новых властителей стран, некий художник, по имени Мамбур, «стоцентный расист», сделал сногшибательное «открытие»: валлоны, которые, как известно, говорят на французском языке, оказывается, не принадлежат к «второразрядной расе», а представляют собой лишь «разновидность германцев» и по отношению к немцам являются, по выражению брюс-

сельского фашистского листка «Нуво журналъ», как бы «германическими братьями романского языка». Однако подобные ухищрения фашистской пропаганды, имеющие в виду прямое уничтожение национальности порабожденного народа, не встречают никакой поддержки. Это вынуждена признать сама фашистская газета. Измышления «сверхизобретательных» расистов вызывают лишь негодование всякого мыслящего человека. Бельгийский народ, как и все насильственно - порабожденные германским фашизмом народы, сохраняет свое национальное достоинство и решительно отвергает все, что враждебно его культуре, которую он создавал веками созидательного труда своих лучших людей, в процессе своего исторического развития. Все мероприятия германских захватчиков преследуют одну цель — удушение национальной культуры бельгийского народа, как этап на пути к задуманному включению Бельгии, как и Голландии, в «жизненное пространство» гитлеровской «Великогермании»; но мероприятия эти разбиваются единой волей свободолюбивых бельгийцев к самостоятельной национальной культурной жизни.

Еще более потрясающим является разгром культуры во Франции. «Под нацистской пятой Париж представляет собой зрелище духовного убожества и хаоса», — писал американский обозреватель Джолз в статье о культурной жизни Европы в дни войны на страницах журнала «Ливинг Эйдж». И в этих словах нет ни малейшего преувеличения. Прекрасный город культурного Запада, который на протяжении веков был творческим центром человеческого ума, средоточием европейской культуры, теперь, после захвата его фашистскими варварами, разорен и находится на грани одичания. Трагедия культурного Парижа, этого мозга и сердца Франции — только часть, правда, наиболее потрясающая, трагедии замечательной страны, ее свободолюбивого народа, ее высокой культуры.

Как только фашистские погромщики ворвались в Париж, они составили так

называемый «список Отто» (по имени Отто Абетца, прежде гитлеровского шпиона, ныне «посла» гитлеровской Германии в Париже) — список книг, подлежащих уничтожению. В него вошло около двух тысяч произведений французской и мировой литературы, которые подвергнуты были сожжению. В Туре гитлеровцы сожгли библиотеку с рукописями великого французского писателя Бальзака. Коричневые варвары разрушили памятники величайшим гениям французского народа, в том числе памятники Вольтеру и Руссо в Париже, и около трехсот иных памятников искусства и старины (среди них — замок Амбуаз, великолепное творение французского зодчества).

В своей звериной ненависти к культуре и демократии немецко-фашистские завоеватели при активном содействии своих французских лакеев из Виши (или «Вишбадена», как называют в насмешку французские патриоты марионеточную столицу, где за спиной престарелого «маршала Петенбурга» по указке из Берлина правит «гаулейтер Вишиардии» Лаваль) открыли ожесточенный огонь против всего, что связано с историческими традициями французского народа. Правительство Виши поспешно расправляется со всем, что осталось в стране прогрессивного и демократического в области народного образования. Первым шагом на этом пути было восстановление церкви в качестве «нравственной опоры» государства. Отменены «безбожные» республиканские законы об отделении церкви от государства, об светской школе, об изгнании религиозных конгрегаций и ликвидации церковных имуществ. Попам и мснахам возвращено для начала имущество стоимостью в двести пятьдесят миллионов франков. Реакционному духовенству предоставлена возможность всячески одурманивать детей и юношество. Педагогические училища (так называемые «нормальные школы»), которые подготавливали народных учителей, — ликвидированы. Из университетов изгоняются передовые ученые. Некоторые из них, как, например, известный профессор Ланжевен, гордость мировой науки, не-

сколько членов французской Академии наук и других маститых ученых (Борель, Лапик и другие) арестованы. Недавно стало известно, что французский ученый Фернан Хольбек был подвергнут в гестапо пыткам, а затем убит за отказ выдать немецким оккупантам тайну одного важного изобретения. Тяжело страдают из-за невозможности продолжать свою научную работу при фашистском оккупационном режиме выдающийся химик Перрен и многие другие французские ученые. Всякое проявление свободомыслия и общественной самодеятельности в рядах студенчества подвергается жестоким преследованиям. После студенческих волнений в Париже осенью 1940 года дело дошло даже до расстрела студентов, массовых арестов, закрытия университета и увольнения ректора. На основе нововведенных антисемитских «расовых законов» произведен настоящий разгром французской интеллигенции; в частности, уволены тысячи преподавателей учебных заведений всех ступеней, а в школах введена «процентная норма» для евреев. Знаменитый французский философ академик Анри Бергсон умер в прошлом году от тяжелой простуды после многочасового стояния на стуже в очереди на принудительную регистрацию, которую он должен был пройти как «не-ариец». Преподавание ряда наук, особенно общественных, подвергается «очистительному пересмотру» с целью борьбы против всякой демократической «крамолы»; в этом же направлении пересматриваются и учебники. Целые французские провинции, как Эльзас и Лотарингия, подвергаются онемечиванию. Французская молодежь загнана в лагеря по германскому образцу и подвергается фашистской муштре под лозунгом «Повиноваться и молчать!», провозглашенным министром «просвещения» Рипером.

Ярким показателем крайнего упадка культурной жизни в порабощенной гитлеровцами Франции является состояние литературы и прессы. Задушена не только коммунистическая, но и вся демократическая пресса; выходят только фашистские черносотенные листки. Французские патриоты презируют и

бойкотируют их. Не лучше и положение в области литературы. Фашистская реакция требует уничтожения всех книг, сочувственно говорящих о революции 1789 года, прославляющих идеи свободы, демократии и международной солидарности. Многие из французских писателей (среди них — Ромен, Моруа, Маритен, Бернанос), как и другие деятели культуры, покинули страну после национальной катастрофы 1940 года и лишены гражданства. Оставшиеся писатели-патриоты (Мальро, Мориак, Роже Мартен дю Гар и другие) обречены на репрессию, на вынужденное молчание. Ромен Роллан, оставшийся в своем родном бургуинском городке, содержится под домашним арестом. Оккупанты сожгли книги Жоржа Дюамеля и отобрали у писателя его рукописи. Распясавшиеся реакционеры готовят полный разгром французской литературы. Один из них, Луи Камикас, даже провозгласил на страницах газеты «Ля Круа» лозунг «Долой роман!», «Долой поэзию!» и призывает литераторов заниматься только агрикультурой, т. е. писать «жития святых» (в первую очередь, разумеется, из числа фашистских «спасителей»). Другие стараются угодить новым властителям, требуют сжечь на «очистительном костре» все книги вчерашнего дня, а заодно и тех, кто их написал.

Вместе с литературой задушена фашистским ярмом и театральная, музыкальная и художественная жизнь. Прославленный французский пейзажист Марке, почтенный старик, как и многие другие виднейшие представители французской интеллигенции, тяжело бедствует на оккупированной территории Франции. Французская интеллигенция лишена возможности творческого труда, поставленная в тягчайшие материальные условия и подавленная разгромом блестящей культуры своего народа, переживает самые тяжелые времена в своей истории.

Издавательства гитлеровских оккупантов и их французских лакеев над национальным достоинством и историческими традициями французского народа достигают пределов подлости. Во Франции

запрещены даже национальные цвета, запрещен национальный праздник 14-го июля, запрещено говорить о французской революции 1789 года. Открытие национал-социалистской партийной организации во Франции для пушего издевательства над французами было устроено в зале заседаний французского парламента, и специально прибывший из Берлина Альфред Розенберг произнес погромную речь против идей революции 1789 года. В этой речи фашистский погромщик культуры дошел до такой наглости, что требовал от французов, чтобы они благодарили германские варварские орды за «избавление» Франции от освободительных идей XVIII века — жизненной основы духовной культуры свободолюбивого французского народа. Гитлеровские хищники мечтают перечеркнуть всю историю Франции и превратить эту, по их утверждениям, «исконную землю германского племени франков» в «Франкенгау» (т.-е. «Франкскую область») — составную часть «Великой Германии».

★

Если в северных и западных странах германские фашисты (пока они не были разоблачены), рассчитывая превратить их в своих союзников, а потому на первых порах проводили свою погромную антикультурную деятельность под маской «друзей», то в других странах, особенно в странах славянских, эти душители народов и их культуры проявили свою разбойничью сущность без всякого прикрытия. Еще предшественники нынешних гитлеровских захватчиков, империалисты кайзеровской Германии, говорили: «Славяне — это только удобрение для немцев». Фашистские головорезы, наследники этих господ, возомнившие себя «высшей расой» и относящие все остальное человечество к «низшим расам», прежде всего включают в категорию своих «естественных» рабов славянские народы. «Есть только одна культура — немецкая. Признать за чехами или другими славянскими народами право на культуру — значит признать расовый хаос». Так заявляют фашистские палачи. На судьбе чехов,

поляков и сербов, ныне не только поработанных германским фашизмом, но и подвергаемых величайшим издевательствам, мы видим, как практически применяются эти «теоретические» воззрения.

Захватив чешские земли, гитлеровцы принялись за уничтожение многовековой культуры чешского народа, за искоренение чешского национального духа. Большинство чешских народных школ закрыто: их заняли под казармы для прибывших из Германии солдат. Все чешские учебники уничтожены под тем предлогом, что в них (даже в книгах по физике и математике) «имеется дух Чехословацкой республики». Сожжена вся чешская историческая литература. Все чешские средние и высшие учебные заведения, в том числе и Пражский университет, один из старейших и лучших университетов Европы, «временно» закрыты. Остался лишь немецкий университет в Праге, куда доступ чехам запрещен. Депутации, которая обратилась к гитлеровскому ставленнику Франку с просьбой об открытии высших школ, было заявлено: «Ваши просьбы совершенно напрасны. Если Германия выиграет войну, то вам вообще никакие школы не будут нужны. Копать картофель вы сможете и без высших школ». Чешским профессорам и студентам закрыт доступ во все публичные библиотеки. Чешская интеллигенция подвергается всяческим преследованиям. Арестовано и отправлено в концлагери около шести тысяч чешских студентов и профессоров; общее же число представителей чешской интеллигенции, заключенных в тюрьмы и концлагери, превышает девяносто тысяч человек. Фашистский «бандит Франк в бытность свою одним из главарей «протектората», говоря о чешской интеллигенции, заявил: «Этой непримиримой прослойке мы предъявим свой счет, и в один прекрасный день она будет уничтожена». В немногих уцелевших чешских газетах вытравляется все национальное: им даже запрещено употреблять слово «славянин» или «славянство». Чешская пресса поставлена под совершенно невероятный по своей изуверской изо-

ренности и свирепости контроль. Германские оккупанты хотят совершенно запретить чешскому народу читать и говорить на родном языке. Названия городов, деревень и улиц онемечены. В общественных местах дозволено говорить только по-немецки.

Фашистские варвары закрыли замечательную картинную галерею в Праге, славившуюся своими прекрасными коллекциями чешских и иностранных мастеров. Музеи в больших городах разграблены оккупантами, и самые ценные коллекции вывезены в Германию. Крупнейшие чешские театры закрыты, и их помещения переданы немцам. В «протекторате» запрещено ставить чешские пьесы. В кино идут только немецкие фильмы. Чешское спортивное движение запрещено: всемирно известная спортивная организация «Сокол» разогнана, помещения ее занято немцами, средства конфискованы, руководители арестованы. Слово «Чехословакия» строго запрещено упоминать в печати, слова «чех» и «чешский» не упоминаются в подписанном Гитлером декрете от 16 марта 1939 года, который является как бы основным законом для «протектората»: речь идет только о территории Богемии и Моравии и ее населении, из которого полноправными являются только «германские жители». Онемечивание Чехословакии производится планомерно и с исключительной настойчивостью, но «успехи» его чисто внешние, так как действия германских фашистов встречают решительное внутреннее сопротивление чешского народа, который любит свою родину и свою родную высокую культуру.

Самой зверской расправе подверглась польская культура после порабощения Польши германскими захватчиками. Искореняя польскую культуру, гитлеровские мерзавцы имеют наглость утверждать на страницах своего партийного «теоретического» ежемесячника, что «польский народ своей культуры не имеет, что «собственных творческих сил польский народ не выдвинул». А возглавляющий оккупационную администрацию в «генерал-губернаторстве», прежде уже прославившийся удушением чешской культуры в «протекторате» гит-

леровский «доктор» погромных Дел Франк договорился даже до того, что «культурная жизнь для поляков излишня».

Фашистские варвары лишили польский народ всякой культурной жизни. Народные школы, которых и прежде в Польше было мало, теперь закрываются одна за другой, и из-за этого сколо трех четвертей польских детей лишены возможности получать даже начальное образование. Средние школы и университеты закрыты. В Варшавском коммерческом училище устроен публичный дом для немецких солдат. Полякам вообще запрещено учиться, запрещено изучать даже немецкий язык. Большинство библиотек закрыто, изъята и уничтожена большая часть произведений польской литературы. Книги на польском языке запрещено издавать, за исключением специальных казенных агитационных брошюр. Полякам запрещено пользоваться также литературой на иностранных языках, и все иностранные книги, даже словари, подлежат изъятию и уничтожению.

«Мы не заинтересованы, — заявляют немецко-фашистские оккупанты, — в создании польской интеллигенции, которая причинила бы нам только хлопоты... Вообще, поляку будет дана возможность учиться столько, сколько нужно для работы». Поляк должен быть невежественным рабом немецкого «господина».

Польские музеи закрыты, многие памятники польской культуры уничтожены. Улицы, названные в честь польских писателей и ученых, переименованы. Гитлеровские громилы разрушают памятники выдающимся деятелям польского народа. В Варшаве разрушен памятник, воздвигнутый великому польскому поэту Адаму Мицкевичу еще в царское время на средства, собранные по всенародной подписке. Памятник Мицкевичу в Кракове также разрушен. Разрушение производилось публично: прекрасная статуя поэта была свергнута с пьедестала и разбита на мельчайшие куски. Точно так же разрушены памятник Шопену в Варшаве, памятники Костюшко в Познани, Лодзи и Кракове.

Германские власти уничтожают и рас-

хищают ценнейшие произведения польской культуры. Они конфисковали книги, рукописи и произведения искусства, принадлежащие государству и частным лицам. Под предлогом «охраны» искусства гитлеровцы совершили массу краж рукописей, гравюр, рисунков, картин и других предметов из Национальной библиотеки, библиотеки сейма и сената, государственных и муниципальных архивов в Варшаве, из Национального музея в Кракове и других хранилищ.

Почти все театры в «генерал-губернаторстве» закрыты. В Варшаве остался только один театр, где идут ничтожные оперетки. Большинство режиссеров, актеров и музыкантов бежало от германской оккупации. В кино идут только немецкие фильмы, но во многие кинотеатры вход полякам запрещен. Радиопередачи на польском языке не допускаются. Газета на польском языке существует только одна — «Новы курьер варшавски», издаваемая оккупационными властями. Этот гнусный листок, издающийся над польским народом, заполнен, главным образом, разного рода нечистоплотными, так называемыми брачными объявлениями. Вообще, фашистские власти, искореняя культуру в завоеванной стране, чинят невероятные издевательства. Они организовали широкую сеть открытых публичных домов и устраивают облавы на польских девушек, которых отправляют в Германию для услаждения фашистских «героев». Германские власти сами признают, что они отправляют молодых польских женщин в публичные дома «в качестве наказания».

В результате такого разгрома культуры польская интеллигенция страдает от безработицы и влачит самое жалкое существование. Учителя, студенты, журналисты, актеры, инженеры берутся за любую работу. На улицах Варшавы появились рикши — обнищавшие польские интеллигенты. Но их материальные бедствия ничто в сравнении с моральными страданиями. В каждом кипит жгучая ненависть к фашистским поработителям польского народа и душителям польской культуры. Оккупанты это прекрасно знают и в

каждом польском интеллигенте видят врага. Поэтому-то большинство концлагерей «генерал-губернаторства» заполнены интеллигенцией, а многие из польских деятелей культуры подверглись ужаснейшим пыткам в застенках гестапо и даже физическому уничтожению. Так, во Львове был убит известный польский ученый и общественный деятель профессор Казимир Бартель; в результате пыток и издевательств в концентрационных лагерях Германии скончались польский физик Пиковский, видные деятели медицины Домбровский и Соколовский и многие другие.

Такое надругательство над польской культурой и беспощадное ее искоренение свирепствуют в так называемом «генерал-губернаторстве». Но некоторые польские области, а именно западные области прежней Польши, фашистские захватчики просто включили в состав Германской империи, насильно выселив оттуда почти все польское население. В этих областях, которые объявлены «немецкими», германский фашизм проводит политику онемечивания. Польское слово, произнесенное вслух, там преследуется. Гитлеровский наместник в Данциге Форстер в недавно опубликованной статье утверждал, что «пока все население провинции не будет состоять из немцев, нельзя говорить, что она отвоевана для Германии». Форстер угрожал, что поляки, которые будут противодействовать онемечиванию Данцигской области, будут «примерно наказываться», причем в первую очередь в связи с этим уже теперь «обезвреживается» (т.-е. попросту истребляется) местная польская интеллигенция. Наместник Познани Грейзер, по недавнему сообщению органа оккупационных властей «Остдойтшер Беобахтер», заявил: «Политическая роль польского народа окончена. Он является для немцев рабочей силой и ничем больше. То, что мы предприняли до сих пор по отношению к полякам, — это только детская игра».

★

Варварское обличье фашистских захватчиков проявилось особенно омерзительно за последние месяцы, когда

гитлеровские орды вторглись на территорию Советского Союза. Гитлеровцы произвели полный разгром культурной жизни в Белоруссии и на Украине, в Литве, Латвии и Эстонии, на временно захваченных ими русских землях. Нота Народного Комиссара Иностранных Дел товарища Молотова от 27 апреля 1942 года приводит в особом разделе многочисленные примеры разрушения национальной культуры народов СССР на территориях, подпавших под временное иго немецких захватчиков.

Помимо неведомых актов самого дикого разбоя и грабежа, бесчеловечного насилия и зверства, гитлеровские «защитники европейской культуры и цивилизации» отличались на советско-германском фронте новыми злодеяниями. Они разрушали творения старинной архитектуры, исторические памятники, театры, музеи, библиотеки, научные и другие культурные учреждения, они громили и оскверняли дома и могилы великих писателей и других мастеров культуры, они глумились над всем, что особенно дорого сердцу советского человека. В Новгороде они разрушили древний кремль, сожгли и уничтожили старинные русские церкви, замечательные образцы старого русского искусства. В Петергофе они отличались разграблением дворца-музея и кражей многих исторических памятников. Они гнусно надругались над могилой великого украинского поэта Шевченко в Каневе. В Клину они произвели дикий разгром дома-музея П. И. Чайковского: они разбили бюст великого композитора, жгли музейную мебель и специально сорванные со стен панели, употребляя на растопку автографы Чайковского, партитуры опер и книги; они срывали и топтали не только портреты Пушкина и Горького, но и портреты Моцарта и Бетховена. Подобной же участи подвергся дом-музей другого знаменитого композитора Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине, который гитлеровские солдафоны превратили в грязный хлев. Ворвавшись в усадьбу-музей Льва Толстого в Ясной Поляне, гитлеровцы совершили поистине невероятное святотатство: музейные помещения были

заняты для вшивой и грязной фашистской солдатни и загажены ими; ценнейшие экспонаты музея были расхищены «на память» генералом Гудерианом и прочим гитлеровским высшим офицерам; много мебели, картин и иных ценных вещей было воровски вывезено в Германию, а остальное имущество попросту разграблено немецко-фашистским сбродом; часть музейной мебели и даже полы издевательски изрублены на дрова, хотя дров в усадьбе было достаточно; замечательный парк и сад были частично уничтожены, причем срублены даже деревья, которые посадил сам Толстой, а напоследок они подожгли в нескольких местах здание музея, пытаясь скрыть следы своих вопиющих мерзостей.

Все эти преступления совершены не отдельными неизвестными германскими солдатами, а германской армией как таковой, «в соответствии с тщательно составленными и разработанными до деталей планами германского правительства и приказами германского командования» (нота товарища Молотова от 27 апреля 1942 года). Они совершены не случайно, не по невежеству, а из высокомерного презрения и ненависти гитлеровских погромщиков к русской культуре, к русскому народу и его интеллигенции, из стремления уничтожить национальную самостоятельность и культурное развитие народов Советского Союза. Немецкие подлые погромщики действовали по прямому наущению Гитлера, который давно заявил: «Народ, который считает Льва Толстого великим писателем, не может претендовать на самостоятельное существование». С одобрения Гитлера генерал-фельдмаршал фон-Рейхенау издал приказ, в котором заявлялось: «Никакие исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения».

★

Немецко-фашистский поход на культуру, сопровождающий насильственное утверждение в наши дни гитлеровского «нового порядка» в Европе, заставляет вспомнить полные справедливого возмущения и сарказма слова Салтыкова-

Щедрин, обращенные к надутым прусским чванством предшественникам нынешних гитлеровских агрессоров-мракобесов: «Только зависть и жадность у вас первого сорта, и так как вы эту жадность произвольно смешали с правом, то и думаете, что вам предстоит слопать мир. Вот почему вас везде ненавидят, не только у нас, но именно везде. Вы подъезжаете с наукой, а всякому думается, что вы затем пришли, чтобы науку прекратить; вы указываете на ваши свободные учреждения, а всякий убежден, что при одном вашем появлении должна умереть всякая мысль о свободе... Никто от вас ничего не ждет, кроме подвоха. Даже своих «объединенных» немцев — и тех тошнит от вас, «объединителей».

Разгул гитлеровских погромщиков культуры в Европе наших дней вызывает в памяти разрушительные деяния предков нынешних немцев в древнем Риме. В 450 году вандалы, одно из германских племен, предводительствуемое своим королем Гейзерихом, захватили Рим, центр культурного мира того времени. Вандалы разрушили «вечный город», уничтожив в нем немало памятников культуры. Они разбивали творения античного искусства, рвали и жгли рукописи философов и ученых. Они «обесмертили» себя в истории, оставив навсегда в языках всех цивилизованных народов слово «вандализм», как символ дикого разрушения культуры.

Но древние вандалы разрушили культуру Рима, ибо они, невежественные варвары, не могли ее понять, по незнанию не могли ее ценить. А их современные потомки, отбросы цивилизованного человечества, владеющие новейшей наукой и техникой, знающие современную европейскую культуру, современные гитлеровские выродки — эпигоны вандализма ни на что иное не способны, кроме разбойничьего разрушения.

Жуткая действительность в странах и областях, временно захваченных гитлеровскими разбойниками, с неопровержимой убедительностью доказывает, насколько нелепы, насколько смехотворны исторические сравнения Гитлера, уподобление им немецко-фашистских

орд разрушителей европейской культуры греко-римским и другим защитникам европейской культуры в прошлые века.

«Только профессиональные обманщики могут утверждать, что немецкие фашисты, покрывшие Европу виселицами, грабящие и насилующие мирное население, поджигающие и взрывающие города и села и разрушающие культурные ценности народов Европы,—могут быть носителями европейской культуры. На самом деле немецкие фашисты являются врагами европейской культуры, а немецкая армия — армией средневекового мракобесия, призванной разрушить европейскую культуру ради насаждения рабовладельческой «культуры» немецких банкиров и баронов» (С т а л и н).

Трехлетие войны в Европе с неопровержимой очевидностью показало всему миру, что гитлеризм — величайшая угроза культуре европейских народов и всего человечества. Хозяиничанье гитлеровцев в Европе принесло в области культуры поработенным народам:

разрушение культурных ценностей, созданных веками творческого труда;

подавление, удушение и искоренение национальных культур;

истребление лучших мастеров науки и искусства;

разгром народного образования и насаждение невежества;

торжество расистского безумия и бесншества;

духовное вырождение и одичание.

Война, которая ведется сейчас с невиданным в истории ожесточением на бескрайних просторах русской равнины, от Северного Ледовитого океана до Черного моря, есть действительно война, в которой решаются судьбы европейской культуры и цивилизации. «Дальнейшее существование роскошных магазинов в Берне, существование швейцарских газет и колокольного перезвона стокгольмских церквей,—все это всецело зависит от того, продвигаются ли вперед или же отступают германские танки, которые находятся между Калинином и Моск-

вой». Так писал минувшей зимою на страницах газеты «Дас Рейх» фашистский борзописец Геффнер. И на сей раз он, сам того не желая, сказал правду. Действительно, в случае победы гитлеровской Германии на советско-германском фронте роскошные магазины в Берне были бы вскоре дочи́ста разграблены хищными гитлеровскими ордами так же, как в свое время разграблены были ими еще более роскошные магазины в Париже. Швейцарские газеты постигла бы та же печальная и жалкая участь, какой подверглась удушенная немецко-фашистскими захватчиками пресса многих европейских стран. Не было бы слышно больше колокольного перезвона в Стокгольме, и в Швеции, как в ныне оккупированных германскими империалистами странах, церковные колокола были бы сданы на слом и переплавлены в оружие для новых разбойничьих войн во имя установления мирового господства фашистских варваров.

Но, к счастью для европейской культуры, германские танки не только не продвигаются вперед между Калининем и Москвой, они даже не отступают на этом пространстве, — их там давно уже больше нет. Великая борьба на советско-германском фронте продолжается, но роль защитников культурной Европы принадлежит в этой борьбе, разумеется, не озверелым ордам, возглавляемым

«...людьми, лишенными совести и чести, людьми с моралью животных», а доблестным вооруженным силам великого Советского Союза, который в боевом содружестве с объединенными свободолюбивыми нациями выступает против преступного гитлеризма. Героическими усилиями Красной Армии полчищам гитлеровских врагов человечества наносится удар за ударом. И в этом — залог грядущего полного разгрома военной машины вандалов XX столетия, залог грядущего спасения мировой культуры и цивилизации.

Эстонская литература последних лет

Л. ТООМ

★

В июне 1940 года, за год до внезапного нападения гитлеровских полчищ на Советский Союз, в Эстонии установилась советская власть. Значительную роль в создании советского строя сыграли и деятели эстонской литературы. Чтобы понять это, достаточно час-часу, хотя бы мало-мальски знакомству с эстонской литературой, узнать состав депутатов Верховного Совета и вообще руководящего актива молодой Советской Эстонии. Как и в других странах Прибалтики, состав этот изобилует деятелями литературы, поэтами, прозаиками и литературоведами.

Широко известным в СССР сделалось имя видного эстонского революционного поэта Иоганнеса Барбаруса (И. Вареса), председателя Президиума Верховного Совета ЭССР; поэт, прозаик и литературовед Иоганнес Семпер, долголетний редактор основного эстонского литературно-художественного журнала «Лоо-минг» («Творчество»), занял пост начальника управления по делам искусств, а заместителем его стал известный эстонский поэт-сатирик Август Алле.

Высокое звание депутатов Верховного Совета СССР носят писатели Август Якобсон и Михкель Юрна. Первый в Советской Эстонии являлся председателем Оргкомитета Союза Эстонских Писателей, второй — Государственного издательства.

Все перечисленные государственные деятели Эстонии принадлежат к числу писателей-профессионалов, известных

читателям по своим многочисленным книгам. Но среди руководящих членов Эстонского Советского Правительства имеются и такие, которым не приходилось печататься в буржуазной Эстонии, но которые по своим склонностям, способностям и деятельности были столько же писателями, сколько и профессиональными революционерами. Таковы тов. И. Лауристин, председатель Совнаркома Советской Эстонии, и тов. Кээрдо — народный комиссар финансов. Оба эти писателя-коммуниста, долгие годы просидевшие в тюрьме буржуазной Эстонии, немало написали в заключении. Первая часть романа т. Лауристина «Республика» была выпущена Гослитиздатом Эстонии в 1941 году. Рассказы П. Кээрдо печатались в эстонских журналах, часть из них переведена на русский язык.

Но и помимо названных все остальные наиболее видные деятели эстонской литературы активно приложили руки к развернувшейся в молодой советской Эстонии кипучей общественно-политической культурной работе. Они писали в газетах, редактировали журналы и книги, работали над составлением новых учебников и хрестоматий по литературе, переводили произведения братских литератур Советского Союза. К моменту советского переворота подавляющая часть эстонских писателей оказалась не на позициях колеблющихся созерцателей, а на позиции активных, убежденных пропагандистов советской культуры.

Это очень важное обстоятельство необходимо отметить, приступая к знакомству с эстонской литературой последних лет.

История эстонской литературы не проста. Выросши, так сказать, на перекрестке европейских дорог, литература эта испытала на себе немало влияний, впитала немало чужеродного, знает немало взлетов и падений. Но во всем этом разнообразии явлений красной нитью проходят свойственные лучшим представителям эстонской культуры и литературы любовь и уважение к своему народу и его истории, а вместе с тем — ненависть к вековым поработителям эстонцев — немецким интервентам и баронам, в течение 700 лет угнетавшим эстонский народ, всячески старавшимся привить ему рабское преклонение перед всем немецким, презрение, пренебрежение ко всему эстонскому.

Характерно, что даже образованные люди из среды господствовавшего в Эстонии класса, — балтийско-немецкого дворянства, а вместе с ними немецкие пасторы, до некоторой степени пытавшиеся играть роль «просветителей» эстонского народа, в сущности не признавали эстонцев как народ. Они называли народ, населявший территорию Эстонии, не эстонским народом, а «деревенским» народом, что означало простолюдинов, людей низшего сословия, живущих в деревне. Для этого «деревенского» народа они сочиняли иногда на ломаном эстонском языке или переводили с немецкого нравоучительные истории, но весьма мало интересовались тем, что чувствует, как мыслит, о чем мечтает этот «деревенский» народ.

Неудивительно, что эстонская литература родилась в 60-х годах прошлого столетия именно как литература и поэзия этого угнетаемого, презираемого «деревенского народа», как голос впервые пробудившегося от долгого рабства народного самосознания.

Две благороднейшие фигуры осенили утро эстонской литературы: Фридрих Крейцвальд, поэт-врач, посвятивший всю свою жизнь созданию из собранных им

народных песен эстонского эпоса «Калеви-поэт» («Сына Калева»), и Лидия Койдула, поэтесса, являющаяся до сих пор непревзойденным мастером эстонской патриотической лирики. Стихи и песни Лидии Койдулы, как и других поэтов этих лет, вошли в сознание народа и сохранились как народная песня или песня матери, услышанная в детстве. Характерно, что почти все, созданное Лидией Койдулой и ее сподвижниками, было переложено на музыку.

Благородные национально-освободительные идеи, глубокий интерес, глубокое уважение к народному творчеству и к его истории, высокий патриотический подъем чувств, ненависть к поработителям — вот тот богатый морально-политический и культурный вклад, который внесли поэты годов пробуждения в историю эстонской литературы. И если мы выше отметили то обстоятельство, что эстонские писатели в решающий момент истории эстонского народа, в момент его вступления в семью советских народов, оказались в первых его рядах, — то этим эстонская литература и эстонский народ в значительной степени обязаны замечательной плеяде первых деятелей эстонской литературы — поэтам годов пробуждения и созданным ими свободолюбивым традициям.

Проза обычно рождается позже поэзии. Так случилось и в эстонской литературе. Еще более запоздало появление эстонской реалистической прозы, связанной с именем Эдуарда Вильде.

Расцвет реалистической прозы относится к годам, предшествовавшим революции 1905 года. Революционная волна 1905 года, высоко поднявшаяся в Эстонии, а также и в соседней с ней Латвии, как борьба против царизма и немецких баронов, вынесла на своем гребне замечательную реалистическую историческую трилогию Эдуарда Вильде «Война в Махтра», «Как аниянские крестьяне ходили в Таллин» и «Пророк Мальтсвек», трилогию, изображающую период крестьянских восстаний в середине XIX века и начало национального возрождения Эстонии.

Наиболее популярным из этих романов является «Война в Махтра». Роман

этот, впервые напечатанный в эстонской радикальной газете в 1903 году, жадно читаемый эстонским крестьянством, да и всем народом, являлся одной из тех искр, из которых разгорелось пламя восстания 1905 года в Эстонии. Своим боевым реализмом, своим публицистическим пафосом, своим устремлением к исторической правде он, как и многие другие произведения Вильде, еще больше укрепил благородные национально-освободительные традиции, созданные поэтами годов пробуждения, обогатив эти традиции новыми, социальными, мотивами, поисками социальной правды.

Вильде, который умер в 1933 году, является прямым предшественником современной эстонской литературы. Преемственность революционных традиций Вильде особенно ярко проявилась в совместном выступлении двух писателей разных поколений и разного рода оружия: прозаика Эдуарда Вильде и поэта Иоганнеса Барбаруса, вместе обратившихся к народу с призывом не допускать к власти фашистов, когда Эстонии угрожал фашистский переворот.

Таковы главнейшие истоки свободолюбивых стремлений и традиций эстонской литературы.

Нелегко дались эстонской литературе годы так называемой независимой буржуазной Эстонии, то-есть послеоктябрьские годы. Заискивание у иностранного империализма, драка за теплые места, продажность, спекуляция, расхищение государственных средств дельцами, дорвавшимися до власти, наглый карьеризм, — эти и прочие качества эстонской профашистской буржуазной «демократии» весьма скоро обнаружались, вызывая гнев и отвращение у лучшей части эстонской интеллигенции, у лучших людей эстонской литературы. Этот гнев и это отвращение удержали подавляющее большинство лучших эстонских писателей от того, чтобы отдать свое перо на службу профашистскому правительству Пятса, которое очень нуждалось в признании и не скупилось на средства, увещевания и даже угрозы, чтобы заставить эстонских писателей служить себе. Оно этого и не дождалось.

Все, что было честного в эстонской литературе, занято было не изображением «положительного героя» пятсовского режима, как этого хотел и требовал правящий класс, а, наоборот, критикой этого режима. Критика эта не всегда была последовательно-революционной, порой она приводила эстонских писателей к мрачному пессимизму и к настроениям уныния и безвыходности, но важно то, что огонек недовольства и социального протеста никогда не угасал в эстонской литературе последних лет.

В поэзии социальное возмущение особенно ярко проявилось в творчестве одного из самых своеобразных и талантливых эстонских поэтов — Иоганнеса Барбаруса. Творчество Иоганнеса Барбаруса являлось сплошным протестом против узости, замкнутости, затхлости жизни в крошечной, замкнутой, реакционной, буржуазной Эстонии. Поэт, много путешествовавший, побывавший во всех крупных столицах Европы, в том числе и в столицах России, окончивший университет в Киеве, участник империалистической войны, Барбарус задыхался в рамках маленькой замкнутой страны. С едким сарказмом писал Барбарус о жизни и быте эстонской буржуазной республики, называя ее казармой, конюшней («Серое письмо с дороги»), о маленькой республике, где

Тут и там репейник торчит над канавой:
серый кайцелийтовец в позе бравой.

В стихотворении «Поросята» Барбарус издевается над мелочностью хозяйственных перспектив крошечной «независимой» Эстонской республики:

Розовый свиненок — наше будущее
розовое!
Это — Эстонии пламенный расцвет!
Свинья — вот поэзия! Все прочее —
проза.
Глаголю: из свиарника придет к нам
свет!

У Барбаруса есть цикл стихотворений, носящий название «Поэт у микрофона». В этом цикле Барбарус обращается к народам всего мира, предлагая им протянуть друг другу «электронные руки». Идея о братстве народов так же органична для Барбаруса, как и ненависть к фашизму, ко всякой реакции.

Неудивительно, что поэт-антифашист Иоганнес Барбарус первый из всех эстонских писателей поднял свой протестующий голос, когда гитлеровские полчища напали на Советский Союз. В самый день объявления войны он написал стихотворение «Час настал», в котором клеймит немецких фашистов, как вековых врагов эстонского народа.

За время войны Барбарусом написан ряд стихотворений, призывающих эстонский народ к борьбе с его исконным врагом. Большинство этих стихотворений проникнуто глубокой любовью к родине, страдающей ныне под игом фашистов, тревогой и печалью за ее судьбу и уверенностью в скорой победе. В этих стихах Барбарус проявил себя, как подлинный патриот, патриот в новом, советском смысле этого слова. Он ощущает себя не просто эстонским поэтом, а поэтом советской Эстонии, советским поэтом. Он чувствует себя членом семьи всех свободолюбивых народов, всех врагов гитлеризма. В стихотворении «Братство поэзии» он пишет:

..Печалью мне близки
проселки, села каждого народа,
где смяты вражьей злобой васильки.

Наряду с Барбарусом крупнейшее место в эстонской литературе занимает Иоганнес Семпер, в течение десяти лет редактировавший основной эстонский литературно-художественный журнал, а тем самым, в известной мере руководивший всей литературной жизнью Эстонии. В Советской Эстонии Иоганнес Семпер сделался руководителем всего фронта искусств, а теперь, во время войны, он является руководителем эстонских государственных художественных ансамблей, созданных из эвакуированных работников эстонского искусства.

Глубоко образованный человек, обладающий широким кругозором, Семпер сыграл большую роль в развитии эстонской литературы, и как хороший поэт, и как прозаик, редактор и вдумчивый критик-публицист.

Незадолго до вступления Эстонии в Советский Союз Семпер издал роман под названием «Камень на камень», где

изображена жизнь эстонской интеллигенции и сделана попытка критического анализа зарождавшегося в Эстонии профашистского течения и методов его демагогии. В романе, появившемся до установления советской власти в Эстонии, естественно не могли быть поставлены все точки над «и», тем не менее тип фашистского демагога намечен весьма жизненно.

Наряду с Барбарусом и Семпером в литературе Советской Эстонии работал ряд талантливых поэтов — Ян Кэрнер, автор множества популярных массовых песен, сатирик Август Алле, Иоганнес Сютисте, Хуго Ангервакс, Март Рауд, Эрни Хийр и др. Все они при вторжении гитлеровских полчищ в Эстонию участвовали в обороне своей советской родины и последними покинули Таллин, уже захваченный немцами. Живя ныне в братских республиках Советского Союза, они не складывают своего писательского оружия. В стихах и прозе обрастают они через эфир к своей оккупированной родине.

Обращаясь к современной эстонской прозе, необходимо прежде всего упомянуть умершего за несколько месяцев до советского переворота крупнейшего прозаика Таммсааре А., роман которого «Правда и справедливость» представляет собой своего рода эпопею, охватывающую жизнь трех поколений эстонцев. Поиски правды и справедливости, поиски счастья и смысла жизни, ненасытный интерес к человеку, к народной жизни во многом роднят этого замечательного эстонского писателя с Горьким. В лице основного героя первой книги романа (переведенной на многие европейские языки) крестьянина Андреаса Таммсааре создал один из типичных образов эстонского национального характера с его необычайным трудолюбием, упорством, честностью и суровостью. Он показал в своем романе тот гигантский, нечеловеческий труд, который помог порабощенному когда-то «деревенскому» народу, заброшенному судьбой на тощие каменистые поля перемерзающими болотами, стать зажиточным и культурным европейским народом. Наряду с романами Вилм

де роман Таммсааре является одним из ценных вкладов в эстонскую, да и мировую реалистическую литературу.

Образ рабочего, людей городской бедноты впервые ввел в эстонскую литературу крупнейший прозаик современной Эстонии Август Якобсон, дебютировавший в 1927 г. своим романом «Пригород бедных грешников». Сам бывший рабочий и сын рабочего, Якобсон создал целую галерею людей физического труда. Но он не чуждается и показа интеллигенции. В своей большой повести «Оскар Тийтус шагает через порог», напечатанной в 1940 году, Якобсон изображает интеллигента, выходца из рабочей семьи, оторвавшегося от породившей его среды. В важный период жизни эстонского народа, когда решался вопрос о вступлении Эстонии в Советский Союз, Оскар Тийтус, давно уже разочаровавшийся во всем том, что он «нашел на верхах» эстонского общества, снова возвращается к рабочему классу. За время войны Якобсоном написан ряд интересных рассказов, рисующих борьбу эстонского на-

рода с фашистскими оккупантами и рождение в этой борьбе героических характеров. Таковы последние его рассказы «Сын партизана», «В июльский день» и «Ради жизни», уже переведенные на русский язык. В рассказе «Ради жизни», сюжет которого воспроизводит трагическую гибель теплохода «Сибирь», изображен инвалид, бывший боец истребительного отряда, который бросается в море, чтобы уступить место на спасательной лодке женщине с двумя детьми.

За время войны эстонские писатели, нашедшие приют в городах и селах братских республик, еще теснее сблизились с народами Союза, с великим русским народом. Они многое перечувствовали и испытали, что, несомненно, расширило их духовный горизонт и жизненный опыт, многому научились от своих русских товарищей по перу. Это, конечно, не замедлит сказаться на дальнейшем развитии эстонской литературы после окончательного разгрома гитлеризма. Эстонский народ и эстонская литература живы и будут жить!

Фронтальная кинохроника

Р. КАЦМАН



После 22 июня 1941 года советские операторы кинохроники стали фронтовиками. Вместе с Карменом, Гусевым, Ешуриным на фронт отправились «покоритель Северного полюса» Марк Трояновский, старейший оператор Ермолов, дальневосточник Лыткин, страстный охотник, много бродивший по тайге с киноаппаратом, не раз забиравшийся даже на Командорские острова, оператор рижской студии Марченко, ленинградец Богоров, ташкентец Фролов и многие другие, перед киносъёмочными аппаратами которых теперь вместо строев, заводских цехов, колхозных полей, спортивных стадионов и вузовских аудиторий развернулись иные, суровые картины.

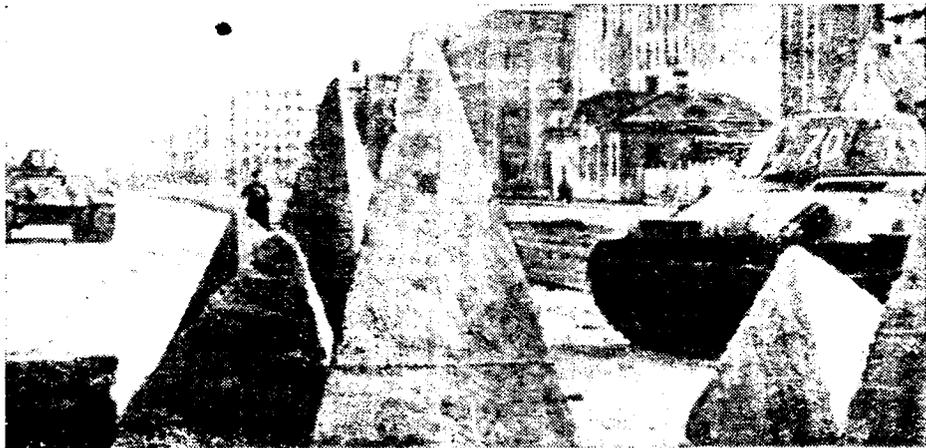
Кинорепортаж с фронтов отечественной войны снимают более ста двадцати кинооператоров. Вся их жизнь, все их творчество посвящены почетному и благородному делу кинодокументации великой героической борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками.

За год войны можно отметить большие достижения нашего документального, публицистического кино, «образной публицистики», как назвал В. И. Ленин кинохронику.

Нынешний успех фронтальной кинопублицистики в значительной мере объясняется тем, что операторы кинохроники опираются на богатейший опыт советского документального кино, накопленный за годы мирного строительства. За

плечами операторов и режиссеров, создающих сейчас фронтальную кинохронику, двадцатичетырехлетний опыт правдивого кинорассказа о жизни, стройке и борьбе страны социализма, опыт беспредрывного выпуска хроникальных киножурналов, завоевания «киноправды», блестящее мастерство таких монументальных, эпических документальных фильмов, как «Киров», «Счастливая юность», «Челюскин», «На Северный полюс», «Папанинцы», «Могучий поток». За их плечами, наконец, высоко-талантливые фильмы 1940-1941 годов — «Седовцы», «На Дунае», «Линия Маннергейма», «Казахстан», «Эстонская земля», «В Китае», «День нового мира». Эти фильмы слагаются из отдельных, и часто повседневных, будничных репортажных съемок, проведенных большим операторским коллективом. Не собранные воедино, объединенные стройной конструкцией фильма, эти кадры рождают величественные поэмы и нет подчас более волнующих, сердечных, доходящих до самых глубоких тайников человека, произведений, чем документальный фильм, рассказывающий о нашей стране, о нашем народе, фильм, в котором отдельные факты поднимаются до высоты художественного образа. Выдающимся произведением советского документального кино — «На Дунае» и «Линия Маннергейма» в 1941 году были присуждены Сталинские премии.

Война застала советский кинорепор-



Город опоясан железным кольцом укреплений.

таж на одном из самых стремительных этапов его творческого развития.

Выпуск всей военной кинохроники сосредоточен в Центральной студии кинохроники. Начиная с 25 июня 1941 года, каждые три дня выходит «Союзкиножурнал», основной раздел которого — кинорепортаж с фронтов отечественной войны. Уже вышло на экраны более ста номеров фронтового Союзкиножурнала. Над его выпуском работает режиссерский коллектив: И. Сеткина, М. Фиделева, С. Гуров, Н. Кармазинский. Отдельные номера монтировали режиссеры И. Посельский, Л. Варламов, Р. Гиков, И. Копалин, Л. Степанова. В создании фронтовых киножурналов участвуют дикторы Ю. Левитан и Л. Дубровин, музыкальные оформители — Н. Аносов, Ю. Ройтман, А. Гран, В. Смирнов, звукооператор В. Котов.

Беспрерывно выходит «Северный киножурнал» Ленинградской студии кинохроники. Он тоже стал целиком фронтовым. Кинооператоры великого города своими киносъемками обороны Ленинграда, которые теперь собраны в потрясающе простом и суровом, героическом фильме «Ленинград в борьбе», вписывают одну из самых сильных и славных глав в творимую хроникой историческую кинолетопись переживаемых нами величайших событий.

В первые месяцы войны создан документальный фильм «Наша Москва», показывающий столицу нашей родины в

дни, когда враг начал штурмовать город с воздуха. Этот фильм удостоен Сталинской премии второй степени.

Автор фильма — лауреат Сталинской премии режиссер М. Слудский — своеобразный и острый художник. Москва в его картине показана любовно, тепло. Народ встретил врага организованно, с уверенностью в своей силе. Звучали слова тревоги, и каждый занимал свое боевое место — и домашняя хозяйка, и зенитчик. А когда наступал вечер, глубоко в тоннелях метро спокойно засыпали наши дети, и матери пели им колыбельные песни, и иногда в этих песнях чудилась освещенная всеми огнями Москва, такая, какой она будет после тяжелых дней войны. Это одно из наиболее удачных мест проникновенного, глубоко человеческого фильма.

Лауреаты Сталинских премий, старые москвичи — кинооператоры И. Беляков и В. Соловьев — прекрасно засняли в своем фильме родной город, улицы, дома, людей нашей Москвы, дающей отпор врагу.

С большим репортерским мастерством сделаны кинозарисовки быта военной Москвы. Особенно умело заснята в фильме система противовоздушной обороны столицы, мощные зенитные батареи, замечательные зенитчики, героилетки, защищающие подступы к столице.

В суровые дни ноября 1941 года, когда враг приближался к столице, возник

новый киножурнал «На защиту родной Москвы». Кадры этого журнала показывают славных москвичей, готовых жизнью своей защищать столицу, замечательных генералов — Белова, Рокоссовского, Доватора и подвиги их частей, подвиги гвардейцев, доблесть которых бессмертна. Выпущено девять номеров журнала «На защиту родной Москвы». Последний номер был посвящен полному очищению Московской области от немецко-фашистских захватчиков. Отныне кадры, включенные в славный московский киножурнал, — достояние истории.

В незабываемые дни боев за Москву созданы два исторических документальных фильма: «Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны товарища И. В. Сталина на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся 6-го ноября 1941 года» и «Речь Председателя Государственного Комитета Обороны и Народного Комиссара Обороны товарища И. В. Сталина на параде Красной Армии 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве».

Просмотрев и прослушав эти фильмы, снова и снова думаешь о том, насколько значительна, важна роль кинохроникеров, и как документаторов нашей борьбы и побед, и как живых, оперативных проводников в самую гущу масс идей и задач обороны родины, указаний и наставлений вождя. И доклад, и речь товарища Сталина, произнесенные в дни XXIV годовщины Октября, слушала вся наша страна, на фронте и в тылу, весь мир. Они были полностью засняты и записаны на кинолентку. И вот каждый гражданин нашей страны, боец, рабочий, колхозник, интеллигент, верный защитник немеркнущих завоеваний революции и верный ее солдат, получил возможность встретиться с родным, любимым вождем и, устремив свой взгляд на трибуну, самому услышать его слова, слушать спокойную, уверенную, полную силы и мудрости речь.

Фильмы о выступлениях товарища Сталина обладают точностью стенограммы, и в этом их особое, неоценимое значение. Ибо киноаппаратами зафиксиро-

ваны весь доклад, вся речь вождя от первого до последнего слова, каждый жест, взгляд его лица, теплый и ласковый, когда он говорит о наших летчиках, покрывших себя славой бесстрашных бойцов, о танкистах и артиллеристах, не раз обращавших в бегство хваленые немецкие войска; суровый и уничтожающий, когда он говорит о гитлеровцах; взгляд, полный силы и убежденности, когда он говорит о неисчерпаемых наших людских резервах, когда он произносит: «Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на отечественную войну так же, как двадцать три года назад. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков?»

Товарищ Сталин говорит:

«На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят поработанные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!

За полный разгром немецких захватчиков!

Смерть немецким оккупантам!

Да здравствует наша славная родина, ее свобода, ее независимость!

Под знаменем Ленина — вперед к победе!»

И каждое слово вождя мы воспринимаем как программу для всей страны, и в то же время глубоко интимно, лично, как задание вождя каждому из нас, тебе и мне, моему отцу, брату, сыну, и мысленно каждый проверяет себя: а как я выполняю сталинские задания?

Перед зрителем парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Незабываемый образ вождя, его проникновенные слова. Двинулись войска. Проходят шеренги заснеженных фронтовиков, идет артиллерия, проносятся кавалеристы, мчатся танки. И всех их благословляет Сталин на новые подвиги, во имя нашей славной родины, ее свободы и независимости. И в грохоте парада, в торжественном шуме пронесшихся войск все время слышится: «Вперед к победе!» Неповторимая атмосфера этого исторического парада передана операторами прекрасно.

Все важнейшие этапы нашей борьбы и побед запечатлены на киноплёнке. С первых дней войны непрерывно идут съемки фронтовой кинохроники. В самые тяжелые моменты операторы были в армиях, не прекращая съемки, показывая наш героический отпор немцам, удары по врагу, стойкость наших бойцов, изматывавших войска противника, твердо уверенных в победе.

Операторы Трояновский и Коган беспрерывно находились в осажденной Одессе, покинув город вместе с последними бойцами. И пленка запечатлела уходившие берега родного, милого города, в который мы еще вернемся.

Все восемь месяцев героической обороны Севастополя в нем находились и снимали кинооператоры Микоша, Рымарев и Кротик-Короткевич. Кинооператоры Южного фронта Левитан, Каиров, Сологубов засняли освобождение Ростова от немецко-фашистских оккупантов. Съемки освобожденного Тихвина дали операторы Лыткин и Ефимов. Торопец и Ливны снимали Гусев и Марченко. На пленку заснято взятие Юхнова, Боровска, Кондрова и многих других важных пунктов, засняты все основные операции, знаменующие собой новый период отечественной войны, — период освобождения наших земель от немецко-фашистских захватчиков.

Кинопереаторы Гусев, Шер и Вейнерович в общей сложности более четырех месяцев провели в партизанских отрядах, снимая их боевые дела. Оператор Шнейдеров вместе с воздушным де-

сантом был сброшен на парашюте в тылу противника, засняв удар десантников по врагу с тыла.

15 кинооператоров, боевая, закаленная за шесть месяцев войны киногруппа Западного фронта, все время находилась и снимала в передовых частях Красной Армии, сдерживавших натиск противника на подступах к Москве. И когда началось наше контрнаступление, кинооператоры двинулись вместе с частями Красной Армии вперед, на запад. Они создали фильм «Разгром немецких войск под Москвой», подводивший итог большого периода напряженной творческой работы кинохроникеров на фронтах отечественной войны.

Михаил Иванович Калинин назвал как-то журналистов «глазом общественности». Таким глазом общественности были операторы-фронтовики. Весь советский народ всегда мысленно был с нашими бойцами в их ожесточенных и победных боях с немчурой. Но видеть эту борьбу, наглядно ощутить ее народу помогли кинооператоры. Фильм «Разгром немецких войск под Москвой» — широкая панорама величайшей битвы, выигранной нами.

С большой силой коллективные авторы фильма — лауреаты Сталинской премии режиссеры Л. Варламов и И. Копалин и операторы Г. Бобров, Т. Бунимович, Р. Кармен, П. Касаткин, А. Крылов, А. Лебедев, М. Шнейдеров, А. Эльберт показывают замечательную технику, которой вооружена Красная Армия, могучую силу нашего оружия, военное мастерство различного вида войск — автоматчиков и лыжников-десантников, танкистов и летчиков, артиллеристов и конников, наши неисчислимые резервы. Фильму «Разгром немецких войск под Москвой» присуждена Сталинская премия первой степени.

Сила фильма, как и всякого настоящего, подлинного произведения документального кино — в зоркости и наблюдательности операторов-журналистов. Это — большая, страстная публицистика, идущая из самых глубин жизни. Именно эти качества определяют успех и текущих номеров военного Союзкиножурнала.

★

В кинохронике по-настоящему волнуется только то, что выхвачено оператором из самой гущи жизни. Волнует характерный взгляд человека, метко схваченный объективом, жест, улыбка, движение. Киножурнал, не имеющий таких кадров, неинтересен, бледен. Наш военный кинорепортаж полон живых деталей, черточек, штрихов, слагающих правдивую, человеческую картину войны. В этом отражен дальнейший рост, уже в период войны, кинорепортажа. Принимаемая знамя, генерал Белов целует его перед строем гвардейцев. Аэродром. Летчики уходят в очередной полет. Самолет пришел в движение, и в этот момент пилот весело машет рукой, прощаясь с товарищами, оставшимися на аэродроме. Он улетает веселый, бодрый, уверенный в своей силе. Все это схвачено оператором, и это замечательно, потому что именно это составляет жизненную основу сюжета.

В Торопце оператор Марченко увидел не только огромные панорамы захваченных у немцев трофеев, он заснял машиниста Локк, который, придя на станцию через час после ухода немцев, поделовому начал разогревать топку паровоза. И сразу все ожило на станции. Эти кадры осмыслили весь сюжет. Младший политрук Бердин вошел в Боровск с частью, которая заняла город. На улице города случайно он встретил свою семью. Встреча была неожиданна, и скорым было прощание. Он ушел вместе с частью дальше, на запад. И вот этот миг встречи и прощания оператор заснял цельно и тепло. Он сумел найти, увидеть его в шумном движении части вперед. Вот так же заснял Бунимович Артемия Ивановича Батова, председателя Солнечногорского горсовета, вошедшего в свой родной город вместе с партизанским отрядом, участвовавшим во взятии города. И сразу Батова окружили жители города, и сразу двинулся он в свой кабинет начинать будничные дела председателя горсовета.

Документальный кинорепортаж, в котором язык кинооператора лишен живо-то патриотического чувства и образно-

сти, не будет доходить до глубины сердца зрителей.

Вот пожарище. Целый холмик из еще тлеющих тел сожженных немцами красноармейцев. Застывшее тело одного из них, с рукой, вытянутой вверх и гневно сжатой в кулак. Этим кадром сказано все. Умирая, боец не сдался немцам.

Вот село, в котором еще утром были немцы, опустошали дома, насильствовали женщин.

В полдень их выбили из села. Когда смеркалось, колхозники вернулись в свои избы. Они затопили печи. Большая панорама села: задымились трубы изб. И в этом мирном дымке, плывущем над селом, мы видим начало возрождения жизни.

Мы видим его и в людях, идущих со своим скорбем по улицам родного городка.

Только владея верным методом репортажа, можно передать на пленке подлинное дыхание жизни. Идя с частями, занимающими все новые и новые населенные пункты, в одном из сел остановился оператор Ешурин. И здесь, по пути, он заснял старого колхозного сторожа, прибывающего вывеску правления колхоза. Он заходил в избы колхозников и в одной из них застал момент, когда старший в семье дед Коротков вытаскивал из-за большого портрета своего сына бережно запрятанный от немцев портрет товарища Сталина и водружал его на старое, привычное место. И этот момент в киножурнале волнуется до глубины сердца.

Правильное понимание событий помогает отобрать в изобилии фактов окружающей нас жизни главное, типичное.

В военной хронике это значит в первую очередь уметь передать подлинную атмосферу войны. В союзкиножурнале № 12 даны панорамные кадры, заснятые оператором Гусевым: вмятые в землю немецкие орудия, каски, трупы солдат. Это сопровождается словами диктора о том, что «здесь прошел танковый экипаж лейтенанта Петрова». И эти вмятые в землю трупы и орудия немцев, которые сумел увидеть, найти на дорогах войны оператор, дают яркое представление о славных делах эки-

пажа Петрова без съемок баталии и танка в бою.

С большим мастерством передает чувство фронта, суровую, тяжелую атмосферу войны в волховских съемках оператор Лебедев. Хорошо дан фон северной природы, лесной глуши, сквозь которую расчищают путь войскам саперы. Серые, черные от пожаров домишки села, пропахшие порохом. Здесь только-что был бой. Трупы немцев, подбитые немецкие танки... Проходит рота в грязных, рваных халатах. Небритые, закопченные лица. Это и есть война. Именно так, не прилизанно, и нужно показывать фронт. И обязательно ловить, буквально охотиться с киноаппаратами за самыми кульминационными моментами боевых действий. Идет воздушный бой. Объятый пламенем «мессершмитт» летит вниз, взрываясь на земле. За гибелью фашистского самолета оператор Кармен проследил с начала боя, вплоть до взрыва. Такие кадры зритель принимает с восхищением, это настоящий военный репортаж.

В каждой операции, в действиях самого маленького подразделения присутствует целая гамма изумительных фактов, деталей, штрихов, эпизодов. Обязанность военного оператора — в грохоте боя увидеть, найти их.

Операторы Бунимович и Касаткин при наступлении под Боровском были в группе наших бойцов, захвативших немецкую пушку. Пушку повернули в сторону отступающих немцев и повели огонь. Операторы снимали. Видя немецкое орудие, только-что брошенное немецкими артиллеристами, зритель почти ощутил близость противника. Важен каждый кадр, показывающий врага если не в самый момент боя, столкновения с ним, то хотя бы наиболее близко к моменту боя. Хорошо заснял немцев Соловьев в Калуге. Наши части только-что заняли город. Население вылавливает не успевших бежать немецких солдат и офицеров. Толпа окружила еще минуту назад отстреливавшегося, а теперь трусливого, дрожащего гитлеровца.

Умелые кадры дал Бобров, засняв группу наших бойцов-автоматчиков,

ворвавшихся в село и стремительным натиском захвативших дом, в подвале которого скрылись немецкие автоматчики, прикрывавшие отступление своей части. И зритель, смотря фильм «Разгром немецких войск под Москвой», аплодирует эпизоду, в котором наши бойцы вытаскивают из подвала немецких солдат, трусливо сдающих свои автоматы.

Интересны кадры Боброва, показывающие крестьянок, вооруженных вилами, ведущих в штаб двух пойманных ими в огороде немцев. Выразительная съемка, делающая зрительно реальным ощущение противника, принадлежит оператору Вейнеровичу. Снимая действия партизан в тылу у врага, в Брянских лесах, он показал операцию по взрыву моста. Партизаны меткой пулей «снимают» немецких часовых. Их трупы скатываются вниз, в овраг, и вскоре мост взлетает на воздух. Все это зафиксировано оператором.

Операторы Вакар и Гольдштейн в боях на Харьковском направлении засняли расчет бронебойщика Найдина. Зритель видит, как Найдин и его бойцы вступают в бой с танками врага. В одном кадре на общем плане дана убедительная и исчерпывающая картина стычки с танками, вплоть до огня, охватывающего загоревшийся танк, выведенный из строя Найдным.

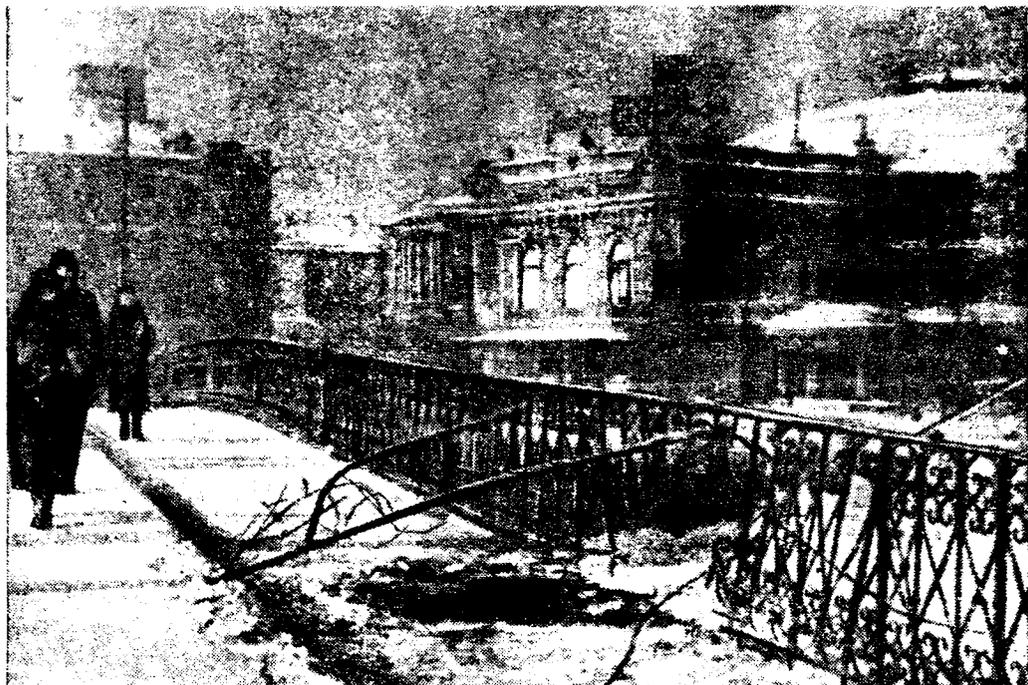
★

Репортаж не означает обязательно отрывочность, клочковатость.

Один из признаков серьезного творческого роста хроникального кино в период войны заключается в том, чтобы операторы сумели перейти от разрозненных кадров и эпизодов к цельным, завершенным сюжетам. И часто, снимая в разное время и в разных подразделениях, накапливая отдельные кадры, они в своем сознании фиксируют неписанный сценарий, определяя место того или иного кадра в сюжете этого сценария.

Из стремительных репортерских наблюдений слагаются завершенные кинохроникальные очерки.

С большим мастерством фронтовыми кинооператорами Эльбертом и Касатки-



Сюда попал артиллерийский снаряд.

ным сделан очерк «Герои ночных полетов». Они пришли утром в столовую авиачасти, и здесь возникли первые кадры очерка. С утренней почтой пришло письмо Герою Советского Союза, летчику-бомбардировщику Александру Молодчему. Письмо от отца. За завтраком летчик читает его товарищам.

Чтение письма прервано. Летчика вызывают к командиру части. Ночью предстоит дальний рейд.

Полковник ставит задачу экипажу Молодчего: выйти на один из германских городов, уничтожить важные военные объекты.

Вытеснение, и операторы переносят нас на ночной аэродром. В тишине ночи к самолету подвешивают бомбы. В последний раз летчики рассматривают карту. Маршрут изучен. Машина готова! Самолет уходит в далекий рейс!

Далее операторы показывают полет отраженно: мы напряженно следим за штабом части, который непрерывно поддерживает радиосвязь с экипажем. Радистки докладывают полковнику результаты сообщений. Повеселевшее лицо полковника, — все в порядке! Цель

найдена. Рука полковника зачеркивает номера уничтоженных объектов противника... Все машины вернулись на аэродром. В комнату входит тяжелой, спокойной походкой уставший и немного разгоряченный Молодчий. Он снял комбинезон, причесался, привел себя в порядок. И, удобно усевшись за стол, склонился над листом бумаги. «Спешу ответить тебе, дорогой отец. Вернулся из полета, задание выполнил. Рад, что и ты с успехом работаешь для нашей победы...»

На аэродроме застыла машина Молодчего. Скоро снова появится около нее летчик, отправляясь в очередной боевой рейс.

Насыщенный содержанием очерк «Герои ночных полетов» уложился в 80 метров. Но, несмотря на лаконизм, это совершенно законченное, оригинальное произведение, занявшее самостоятельное место в Союзкиножурнале.

С таким же мастерством оператор Б. Небылицкий сумел в семидесятиметровом сюжете ярко и убедительно показать становление командира. Мы видим теплые проводы сержанта из части и

потом его же после окончания школы лейтенантов во главе своего подразделения. И мы совершенно реально ощущаем, какой большой путь пройден этим новым молодым командиром.

Умение очерково, завершено строить хронику особенно важно при показе больших операций. Большая удача Союзкиножурнала — № 3, посвященного освобождению Тихвина (операторы Лыткин и Ефимов), и № 37 о боевых буднях энской авиачасти Юго-Западного фронта (оператор Ибрагимов). Все чаще и чаще хроникальный киноочерк вырастает до размеров целого номера журнала, завершено показывая отдельные операции.

★

Боевые операции наших войск — это основной, ведущий раздел фронтового кинорепортажа.

Пресловутый помощник Геббельса по киноделам доктор Гиппель, уже известный своим смехотворным заявлением о прекращении из-за морозов съемок

кинохроники на германо-советском фронте, недавно, в ответ на вопрос о том, почему немецкие журналы кинохроники так похожи друг на друга и фильмы, показывающие операции на Востоке, стали такими короткими, сказал: «Потому что операции пехоты и танков представляют собой практически всегда одно и то же зрелище».

Конечно, немецкие пехотинцы, устилающие своими трупами нашу землю, и подбитые, выведенные из строя немецкие танки представляют собой довольно однообразное и унылое зрелище, которое Геббельс, естественно, не разрешает снимать своим кинооператорам.

Но вот перед нами большое количество сюжетов, посвященных операциям пехоты и танков, заснятых нашими операторами. В каждой съемке есть свое, особое, отличающее одну операцию от другой.

Оператор Фролов заснял разгром «Голубой дивизии». Показал уличный бой, обснял четкие, стремительные действия наших бесстрашных пехотинцев и



Приближалась весна. Ленинградцы вышли на очистку улиц.

результаты их действий — уничтоженные, взорванные блиндажи врага, заваленные трупами испанских авантюристов.

В сюжете Р. Кармена «Мародеры выбиты из села Н.» тоже действует пехота. Его сюжет начинается кадрами встречи командования части с партизаном, сообщающим о месте расположения немецкого гарнизона в селе.

Вместе с частью идет в бой оператор. Он неотступно следит за пулеметчиком Ивановым, выделяя его на общем фоне боя. Это придает сюжету большую конкретность. Совсем непохожи на эту съемку кадры взятия Можайска. Здесь операторы сконцентрировали свои силы на съемках в районе вокзала, взятие которого решило успех операции.

★

Но сила наших съемок, показывающих действия пехоты, танков и других родов войск, заключается прежде всего в том, что мы снимаем не просто «человека с винтовкой», не просто действующий танк или артиллерийское орудие и не просто некую технологию боевого эпизода, мы показываем операции наших войск — через людей, наших советских людей — бойцов, командиров, политработников, партизан. Это и есть герои нашего фронтового репортажа. Это не безликая масса солдат-автоматов, из которых состоит огромная немецкая военная машина. Это прежде всего патриоты родины, рабочие, колхозники, интеллигенты. Их руками строилось великое здание социализма, сегодня они и их дети защищают свои завоевания от нашествия врага. Бесмертные подвиги людей, их высокую мораль, их изумительную человечность и бесстрашие, их высокую дружбу в суровой обстановке фронта и беспощадность к врагу запечатлевают военные кинооператоры.

Героический образ советского человека, защищающего свою родину, проходит через всю военную кинохронику. Вот съемки морских операторов: люди Севастополя, героические защитники города, не знающие страха в борьбе, не щадящие своей жизни военные моряки.

Работница мастерских оружия Анастасия Чаус, потерявшая в одну из бомбежек левую руку, но все же снова вернувшаяся к станку и втрое увеличившая свою норму. Разведчица и пулеметчица, героиня одесских и севастопольских боев — Нина Онилова; капитан Драпушко, сдерживавший огнем своей батареи целые полки фашистов. Героические командиры, чьи имена отныне известны всей стране, — артиллерист приморской армии майор Богданов, командир бригады морской пехоты полковник Потапов, командующий приморской армией генерал-майор Петров, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский. И рядом с ними — рядовые бойцы и краснофлотцы — Пушкарев, спасший корабль от взрыва, красноармеец Киселев, смертельно раненый 17 декабря 1941 года на Малаховом кургане и похороненный рядом с памятником сраженному здесь же в октябре далекого 1854 года вице-адмиралу Корнилову. Операторы сумели подметить, найти и зафиксировать на пленке самое типичное, характерное. Да, это именно севастопольцы, именно героические моряки. Об этом говорят и их открытые, мужественные, полные бесстрашия лица, и их жесты, и какая-то особая походка, и задорный свист перед атакой, и необычайно характерный для морской пехоты момент, когда, идя со штыком на врага, боец-моряк быстро сбрасывает каску, надевая свою привычную и любимую, облинявшую в штормах, видевшую виды бескозырку.

Операторы—Микоша, Рымарев, Кричевский, Смолка, Короткевич, Донец показали пример живых, ярких съемок людей фронта. Это не обезличенные кадры, нередко встречающиеся в хронике, в которых почти одинаково выглядят кавалеристы юга и пехотинцы северо-запада. Каждый кадр передает черты данного фронта, его особенности и людей, севастопольцев, черноморцев.

Целая галерея изумительных людей — партизан северо-запада — предстает в съемках оператора Шера, проведенных в глубоком тылу врага. Среди них и бородатый партизан товарищ И., который был партизаном и в славные го-

ды гражданской войны, и награжденная орденом «Красное Знамя» разведчица М., заведывавшая до войны детскими яслями, и Юра И., пришедший в партизанский отряд со школьной скамьи.

Рядовые, простые советские люди, ставшие героями в грозную для родины минуту. Через десятилетия люди грядущих поколений с благоговением и благодарностью устремят свои взоры на экран, на котором будут жить бессмертные образы сегодняшних скромных и великих защитников родины. И среди них увидят кадры, заснятые оператором Небылицким в памятные дни ноября в Туле, когда фашистские полчища рвались к Москве, когда над Тулой нависла угроза и город стал фронтом.

В киножурнале «На защиту родной Москвы» № 6 хорошо показаны бои под Тулой, удар наших частей по вражеским танкам и мотопехоте, неприступная линия обороны города, каждая попытка прорвать которую дорого обходилась врагу. Но самое сильное в журнале — люди Тулы. Это они сделали непобедимым родной город.

Скрипнула дверь в одном из домов на притихшей улице. Так привычно скрипела дверь многие годы, когда почетный оружейник Гаврила Андреевич Громов, прощаясь с женой, шел на завод. Теперь опустели заводские корпуса. Заводы работают в глубоком тылу. Гаврила Андреевич, заперев двери квартиры, с винтовкой в руках идет в свой рабочий батальон. Вместе с ним — две его дочери, санитарные дружинницы этого же батальона.

Город — фронт. На огневые позиции можно идти пешком. В гости к артиллеристам и к своему сыну — командиру дивизиона пришел старый оружейный мастер Василий Павлович Серегин. Он принес родительское благословение: бей врага до последней капли крови.

В Комитете обороны города — круглые сутки напряженная работа. Много дней не смыкает глаз председатель Комитета, секретарь Тульского обкома ВКП(б) т. Жаворонков. Оператор вырисовал волевой образ большевика, спокойно и уверенно готовящегося к встрече с врагом.

Разных людей встречают на фронте кинооператоры и для каждого находят свежие, яркие краски. Вот снайпер Дорджиев. Уроженец далекого Алтая, он охотник и следопыт. Он умеет зорко выследить врага, терпеливо дожидаться его и не промахнуться. Это умение снайпера, родившееся еще в охоте на зверя, в долинах и горах Алтая, хорошо схватил и передал на пленке оператор Доброницкий. Вот — жизнерадостная Аня Каврединова, продавец передвижного автоларька, обслуживающего расчеты артиллерийских батарей. Смелый санитарный инструктор Сима Загвоздина, заснятая оператором Бобровым в дыму боя, вспотевшая, осыпанная комьями гудящей от взрывов земли, почти обессилевшая, но вынесшая раненого к пункту первой помощи.

И восемь героев, заснятых в новогоднюю ночь на Западном фронте в деревенской избушке, ставшей блиндажем. На фронт прибыли делегаты Москвы. Старый, усатый рабочий и веселые девчата с Трехгорки. Они пришли сюда, на самую передовую линию, чтобы за сверкал белизной скатерти стол и вместе со всей страной дружно и радостно встретили наступающий год восемь отважных бойцов, только-что вырвавшихся из лап смерти. Враг окружил смельчаков огненным кольцом. Они прорвали кольцо, они вышли к своим, захватив у немцев пулемет, не потеряв ни одного товарища. И как хорошо сейчас быть вместе, в теплом кругу делегатов любимой столицы, и вместе поднять бокалы за родной город, за советский народ, за любимого Сталина, за победу в наступающем году.

Среди людей фронта в военном кино-репортаже видное место занимают кадры, посвященные военным руководителям — славным генералам и комиссарам. В фильме «Разгром немецких войск под Москвой» в центре боевых операций даны кадры Военного Совета Западного фронта. Надолго запоминается энергичная фигура генерала армии Жукова, склонившегося над картой. Киножурнал об освобождении Ростова начинается кадрами, показывающими маршала Со-

ветского Союза тов. Тимошенко и члена Военного Совета фронта тов. Хрущева у прямого провода.

Большой интерес представляет записанная на звук беседа с генерал-лейтенантом Рокоссовским.

★

Большой, самостоятельный раздел фронтового кинорепортажа — показ партизанской войны в тылу немецких захватчиков, партизан и партизанок, разрушающих средства связи и транспорта врага, уничтожающих штабы и технику врага, не жалеющих патронов против угнетателей нашей родины.

Операторы Иванов и Голод проделали путь из глубокого тыла, через линию фронта в Ленинград, вместе с партизанами, доставившими в город Ленина обоз с продовольствием. Горячо, поточно прижал к своей груди руководителя партизанского отряда Андрей Александрович Жданов, встретившийся с народными мстителями в Смольном.

Кадры, заснятые Сокольниковым, рассказывают о партизанах Подмосковья, их боевых делах (нападение на немецкий штаб, уничтожение автомашин с боеприпасами), их быте. Полна суровой романтики и тяжелых испытаний их жизнь в непроходимых лесах, в невидимых землянках. И все же находят сюда путь крестьяне из ближайших деревень, непрерывно вливающиеся в партизанские отряды. Колхозницы снабжают партизан спрятанным от немцев хлебом, приводят в отряд уведенных в леса коров и овец, вяжут для партизан рукавицы.

Много дней провел вместе с партизанами в приазовских плавнях оператор Сологубов, заснявший операции по уничтожению немецкого карательного отряда и взрыву железнодорожных путей.

★

Среди наиболее сильных кадров фронтового репортажа — кинодокументы, показывающие немецко-фашистскую армию, ее мародерский облик, разоблачающие грабительское и кровавое «лицо нашего врага, вскрытое и выставленное на свет опытом войны». Заснятые на

поле боя, в районах, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков, кадры хроники с жестокой силой документа помогают вскрыть и выставить на свет, перед всем миром подлинное лицо немецкого фашизма и его армии.

Кадры немецких зверств в Ростове зовут к возмездию. К этим кадрам прибавились новые и новые — непроверяемые, гневные документы, перед всем миром разоблачающие немецкую армию — армию средневекового мракобесия.

Стыло сердце, в сознании не вмещалось увиденное, хотелось отложить в сторону аппарат, взять в руки винтовку. Но знали: надо снимать, пусть увидит мир подлинный лик гитлеровского зверья. И, идя вместе с Красной Армией по его кровавому следу, операторы снимали.

...Восемь повешенных в Волоколамске Ров смерти в Керчи. Ставший седым из глаз у оператора керченский рабочий, склоненный над трупами истерзанных жены и дочери. Удушненные немцами в подвале пять колхозных семей из села Сосино Московской области. Дощечки с отметкой немецкого коменданта, привязанные к каждому жителю села Тарутино. Белые повязки на рукавах евреев города Ливны. Застенок гестапо в Калуге, с грудой рук, отрубленных фашистскими палачами у советских жителей и пленных красноармейцев.

Мародеры... На всех фронтах операторы засняли штабные машины, груженные водкой, детским бельем, сорванными в домах коврами. В Тихвине по пути отступления, операторы увидели рядом с брошенными танками и орудиями самовары и швейные машины. Награбленное тоже пришлось бросить.

Даже шкуру с чучела медведя в Волоколамском краеведческом музее содрали.

Немцы — разрушители славных памятников русской культуры. Вот Клин, связанный с любимым именем Чайковского. Ясная Поляна — святилище русского народа. Эти места засняты с великой любовью к русской культуре, с каким-то трепетом, с нежностью.

Засняты поруганные пушкинские места в Кондрове. Бежин луг, усадьба

Тургенева, превращенная в конюшню. Разрушенный в Тихвине домик Римского-Корсакова. Сожженный немцами Бородинский музей.

★

Кинооператоры закреплены за конкретными фронтами и флотами, а внутри них — армиями и кораблями. В армиях работа операторов проходит в различных соединениях, вплоть до взвода. С этими соединениями операторы совершают весь их боевой путь, участвуют в боях, входят с передовыми частями в освобождаемые от немецко-фашистских оккупантов населенные пункты, все время находясь в самом центре боевой жизни фронта, добывая каждый кадр по самым горячим следам событий.

Кадры нашего репортажа правдиво показывают самую жизнь. И отвращение и ненависть вызывают подлые методы фашистских операторов из гитлеровских «рот пропаганды». Оператор киногруппы Южного фронта А. Левитан собрал фактический материал о том, как немцы изготавливают кинофальшивки, фабрикуют хронику о «победоносных действиях немецкой армии». Советские бойцы, вырвавшиеся из фашистского плена, видели, как это делается: группу немецких солдат переодевают в советское обмундирование, и затем перед киноаппаратом разыгрывается «бой».

«— Немцы, вперед, в атаку, — кричит кинооператор, — теперь русские сдавайтесь, бросайте оружие, поднимайте руки.» Еще раз крупным планом оператор снимает группу «русских, сдавшихся в плен».

Население временно оккупированных советских районов силой оружия заставляют участвовать в самых нелепых инсценировках. Жители колхоза «Скеля» Ворошиловградской области рассказали следующее: «Собрали нас человек пятьдесят — женщин, стариков, подростков и приказали всем итти к саду. Там на нас направили пулеметы, и немец на ломаном русском языке сказал, что сейчас будет кино съемка и что мы должны делать все, что нам прикажут, иначе всех нас расстреляют. Потом немцы с аппаратами расставили нас, как им на-

до было, и началась съемка. Подошли немецкие офицеры. Под страхом расстрела нам предлагали пожимать им руки и улыбаться. А потом самого старого нашего колхозника заставили подойти к немецкому офицеру и обнять его».

В сложных, подчас трудных условиях проходит творческая работа военных кинохроникеров. Вот выдержка из письма одного оператора: «...Посылаю первую партию съемок, добытых дорогой ценой. Сержант-шофер тяжело ранен, сильно повреждена машина. А нас даже не зацепило. Мы шли в бой вместе с частью. Село было взято стремительно. Это большой урон для немцев. Нами взят важный узел. Мы ударили по-настоящему, и ничего им не помогло. И не поможет: в селе мы уже укрепились. Почти ежедневно они бросают на нас авиацию. Вчера был тяжелый день. Наш участок подвергся зверской бомбежке с воздуха. Четыре с половиной часа! Мы не могли поднять головы. Бывают чудеса: вокруг нас вспахали все, бомбы рвались в нескольких шагах от щели, где мы лежали. Нас осыпало комьями земли, оглушало, окутывало серым дымом. Мы изредка переключались с Борисом, спрашивали: «Жив?» — Это было в районе части, которая, овладев селом, зашла в глубокий тыл к немцам, по ту сторону реки Л. Бомбежка прекратилась после захода солнца. Мы поехали лесной дорогой к реке, заблудились в лесу, выбрались из этого леса только к трем часам утра. Эта поездка была по нервному напряжению не легче бомбежки. Вот один наш «съемочный» день. Радостно самое главное: село твердо держим, и зашедшую в тыл к немцам часть бомбежка не заставила отступить ни на шаг, и мы вот учимся у бойцов, закаляемся, снимаем, и хотя, скажу честно, было тяжело, — счастливы, что все же в нашем футляре лежит 300 метров заснятой пленки, 300 метров боевых кадров».

Смелость, отвага, хладнокровие — типичные черты многих военных операторов кинохроники.

Операторы Кармен, Трояновский, Учитель, Вихирев, Ибрагимов, Шоломо-

вич совершили большое количество вылетов за линию фронта на бомбардировщиках и штурмовиках. Они участвовали в боевых операциях, снимая уничтожение живой силы и танков противника, разгром вражеских аэродромов.

Начальник киногруппы Юго-Западного фронта Кузнецов, снимая в одном подразделении, был отрезан частями противника и остался за линией фронта. Полтора месяца вместе с бойцами и командирами Кузнецов с боем выходил из окружения, в конце-концов пробившись к нашим частям. За отвагу и мужество он награжден орденом Красной Звезды.

Находясь в партизанском крае, оператор Гусев, снимая, одновременно выполнял задания партизанского отряда. Когда возглавлявший объединенный отряд партизан и разведчиков лейтенант погиб, командование принял оператор Гусев. Умело действуя, он отразил превосходящие силы противника, нанеся ему большие потери.

За все время жаркой стычки с врагом Гусев не расставался с кино съемочным аппаратом. Операторы идут на преодоление любых препятствий ради главного — съемки боевых кадров. А добиться этого не так просто. И кинооператоры, зная это, лезут в самый огонь боев, а снаряды разрываются совсем рядом, но не попадают в кадр, и операторы бледнеют от досады. Оператор Марченко снимал танковый десант. Вражеская артиллерия обстреливала облепленные пехотинцами танки, но в кадр не попало ни одного взрыва. И вот оператор пишет, нервничая и злясь: «Что ж это получается? Можно снимать в самом пекле, поймать в лучшем случае пару осколков, а в кадр это пекло не всегда поймает. Ты можешь себе представить мое состояние: идет танк с десантниками, я слежу за ним, он в кадре, а буквально за кадром в двух сантиметрах разрываются подряд три перелетных снаряда, осколки над головой просвистели, а что пользы в этом? На пленку, ведь, взрывы не попали».

★

Работа кинохроникеров на полях войны служит примером благородного служения нашего искусства родине.

Несмотря на необычность и сложность фронтовой обстановки, в которую по существу целиком перенесена творческая жизнь и работа большинства «журналистов экрана», резко повысилось их художественное мастерство.

В грохоте проносящихся снарядов у них есть время подумать и о смене объекта, и о наиболее выгодной точке съемки, и о построении кадра, и о применении фильтра, — то-есть, о всем том, что усиливает художественное воздействие хроникальной съемки.

Вспомним композицию кадра боя в фильме «Разгром немецких войск под Москвой»: на дальнем плане — бойцы, усеявшие снежное поле, идут в атаку. На ближнем плане — склоненные ветви дерева, кусочек милого русского пейзажа. Этот кадр, заснятый подлинным художником, навевает сокровенные думы о родине, о земле нашей, которую мы защищаем от захватчиков, и еще сильнее начинаешь любить эту землю — родную, русскую землю.

Сжившись с армией, хорошо узнав и полюбив свой участок фронта, операторы находят яркие, сочные краски, характерные именно для этого края, его лесов или рек, возвышенностей или полей.

Характерны в этом отношении съемки кинооператоров черноморской группы. В съемках боевых дел Черноморского флота, в кадрах морских батальи и просто самого моря проявилось умение операторского искусства. Вспомним общие планы движения эскадры, режущие воду катеры с десантниками, штормовое море, свинцовые волны, подбрасывающие мочуе линкоры, как маленькие лодочки. И часто кадры, показывающие военные корабли на море, — то бурном, то спокойном, но всегда величественно красивом, — звучат, как песня о море, о людях моря — самоотверженных военных моряках.

В съемках действий наших войск в Донбассе операторы Левитан и Шоломович эмоционально, с поэтической силой показали донбасские пейзажи, уходящие

в небо териконы, донецкую степь, белянькие избы поселков, раскинувшихся вокруг шахт. В кадрах Ворошиловграда все подчеркивает боевой облик этого города, за революционные заслуги награжденного орденом Красного Знамени.

Вдохновенны кадры оператора Шоломовича о боевых действиях нашей авиации. Казалось бы, бомбежка — дело опасное, главное — снять отрыв бомб и разрыв на земле, на цели. Но Шоломовича не устраивают только эти кадры. Участвуя в боевом полете, он умудряется снять и самолеты с разных точек: снизу, сверху, сбоку, на параллельном курсе. Он показывает штурмовой бомбардировщик, величественно парящий в воздухе, стремительно несущийся вниз, снова набирающий высоту. Летчика, ведущего машину, в полете. Крупный план его лица. Руку на штурвале. Готовясь к съемкам, оператор успел сдружиться с пилотом за несколько дней жизни в авиачасти. И теперь пилот старается выполнить все, чтобы оператор осуществил задуманный план. И когда из люка соседнего самолета вылетают листовки, оператор снимает это снизу, следя панорамой за полетом листовок, развеявшихся по ветру. И снова красиво и могуче плывут в воздушном океане самолеты, а курчавые облака пробегают мимо. «Если бы ты знал, — пишет в письме к товарищу оператор Левитан, — какой короткой становится кассета «Аймо» в воздухе. Невозможно устоять от греха еще разик нажать на спуск, когда соседний самолет подходит совсем близко, крыло в крыло, и, внезапно взмывая вверх, раскрывается в чудесном ракурсе, так хорошо передающем благородные контуры боевой машины».

Настоящими, большими художниками проявили себя ленинградские операторы — Учитель, Фомин, Богоров, Погорель и другие. В тяжелые месяцы зим-

ней блокады руки их крепко держали киносьемочную камеру. В картине «Ленинград в борьбе» с необычайной художественной силой показан город-боец. Воздушные налеты и артиллерийский обстрел изранили город, но не лишили его суровой красоты. В кадрах ленинградских съемок мы видим строгий рисунок Невского, улиц и площадей прекрасного города; овеянную романтикой баррикадных боев Нарвскую заставу. Любовь к каждому камню города, к каждой пяди земли, на которой он стоит, чувствуется во всем фильме. Композиция кадра, выразительность фотографии ленинградских хроникеров может с честью поспорить с лучшими съемками операторов художественного фильма в знаменитых картинах о Ленинграде.

С неменьшей художественной силой засняты кадры Ленинградского фронта — особенно ледяной трассы через Ладожское озеро.

★

Перед фронтовыми кинооператорами стоит задача дальнейшего совершенствования своего мастерства.

Не все еще умеют снимать военные действия так, чтобы в них чувствовалось горячее дыхание фронта. В киножурналах, встречаются и бледные, невыразительные сюжеты. Есть вялые, лишённые цельности и законченности съемки. В кадрах отдельных операций часто схематично, бледно показывается взаимодействие различного рода войск. У многих операторов скучна тематика, они не научились еще видеть будни фронта во всем их многообразии.

Качество фронтовой кинохроники надо повышать непрерывно. Ибо кинооператоры, непрерывно находясь на линии огня, снимая боевой кинорепортаж и одновременно историческую кинолетопись великой битвы советского народа с немецко-фашистскими варварами, делают неоценимо огромное дело.

Библиография

РАССКАЗЫ О ТОЛСТОМ*

Лев Толстой принадлежал к числу великих русских писателей-патриотов.

Могучее патриотическое чувство и огромный художественный талант позволили Толстому создать гениальное произведение — народно-историческую эпопею «Война и мир». За семьдесят лет, протекших со времени ее появления, эпопея «Война и мир» не только не устарела, но в наши дни смертельной схватки советского народа с немецко-фашистскими ордами имеет актуальное значение.

Толстой горячо любил русский трудовой народ, особенно трудовое крестьянство, которое он так хорошо знал и так прекрасно изображал в своих произведениях. Известно высказывание по этому вопросу В. И. Ленина, записанное А. М. Горьким.

«Знаете, что еще изумительно в нем? — Его мужицкий голос, мужицкая мысль, настоящий мужик в нем. До этого графа — подлинного мужика в литературе не было».**

В свете этих высказываний В. И. Ленина особенный интерес приобретает вышедшая недавно в Туле книга записей народных рассказов о Толстом, сделанных фольклористкой С. С. Жислиной. Тов. Жислина обследовала 27 населенных пунктов, так или иначе связанных с жизнью и творчеством Толстого. Это прежде всего, конечно, Ясная Поляна и ближайшие к ней деревни, затем бывшие имения сыновей и брата Толстого в Тульской области, далее районы в Рязанской и Орловской областях, где в 1891—1898 годах по инициативе Л. Н. Толстого была организована помощь голодающим крестьянам, и, наконец, станция «Лев Толстой» (б. Астапово), где скончался великий писатель. Во всех этих местах тов. Жислина записала в общей сложности до 400 больших и малых рассказов о Толстом.

Рассказам предшествуют предисловие редактора Ю. М. Соколова и вводная статья составительницы. В этой статье т. Жислина говорит: «дореволюционная... деревня не оставила и не могла оставить в литературе каких-либо материалов, свидетельствующих об ее отношении к писателю» (стр. 9). Это утверждение неверно. Тов. Жислиной следовало бы знать и указать своих предшественников. Еще в 1904 году появились «Воспоминания о Л. Н. Толстом бывшего слуги» С. П. Арбузова (т. Жислина на стр. 168 ошибочно замечает, что из этих «Воспоминаний» были напечатаны только отрывки в «Биографии Л. Н. Толстого», составленной П. И. Бирюковым). В «Толстовском ежегоднике 1912 года» был помещен целый ряд интересных воспоминаний о Толстом, записанных со слов яснополянских крестьян; в «Ежемесячном журнале» за 1915 год печатались очень содержательные воспоминания яснополянского крестьянина А. Т. Зябрева. Все эти публикации тов. Жислина должна бы иметь в виду и поставить в связь со своими записями.

Самые записи т. Жислиной сделаны так, что не возникает ни малейшего сомнения в их точности. Во многих записях, как перлы, рассыпаны сильные и образные народные выражения, подобные тем, которыми в свое время так восхищался Толстой. «Приглядная», «сгорилась», «идет, пятками землю рубит», «подлетки» (то-есть люди, близкие по возрасту), «кнутинной перепоясал» (то-есть ударил кнутом по поясу), «мыкается», «ноги выскакивают из лаптей», «куриного пера не дали», «мы этим не проинамались», «присиротел», «нерасстанная», — такими и многими другими чудесными народными словами и оборотами речи полны записи т. Жислиной. В одном месте читаем записанное со слов пожилой яснополянской обитательницы изумительное описание народной пляски. Любопытный художник, не задумываясь, поместил бы его в свое произведение.

Записи расположены в хронологической по-

* С. Жислина. «Рассказы о Толстом». Под редакцией и с предисловием академика Ю. М. Соколова. Издание газеты «Коммунар». Тула, 1941.

** А. М. Горький, «Владимир Ильич Ленин».

следовательности по периодам жизни Л. Н. Толстого. Первый раздел книги — «Молодость». Здесь особенно интересен рассказ об отношениях Толстого до его женитьбы к яснополянской крестьянке Аксинье Базыкиной. Рассказ передает воспоминания самой А. Базыкиной. Остался в памяти местных крестьян и рядовой Василий Шибунин, ударивший офицера и приговоренный за это к смертной казни. Толстой выступал его защитником в военном суде (это было в 1866 году), но солдат все-таки был расстрелян. Не забыта до сих пор и проживавшая вблизи Ясной Поляны Анна Степановна Пирогова, сожительница знакомого Толстому помещика Бибикова; ее самоубийство после того, как она была покинута Бибиковым, внушило Толстому мысль о развязке его романа «Анна Каренина» и дало имя героине этого романа.

Все дальнейшие записи относятся уже ко второму периоду жизни и деятельности Л. Н. Толстого.

В разделе «Искания» дано несколько рассказов о странствованиях Толстого по лаврам и монастырям.

Название следующего раздела — «Добрый барин» — нельзя признать вполне удачным: многие помещенные здесь рассказы не подходят под эту рубрику. Так, здесь помещены рассказы о комических недоразумениях, происходивших с Толстым из-за его простой одежды.

Теперь, когда опубликована большая часть дневников Толстого, нам совершенно очевидно, с одной стороны, те мучительные страдания, которые испытывал Толстой от своего положения помещика, и с другой стороны — те причины, которые не давали ему возможности вполне освободиться от этого положения.

К сожалению, ни Ю. М. Соколов в своем предисловии, ни составительница в своей вводной статье совершенно не коснулись этого вопроса, и это следует признать крупным недостатком комментария. Вообще у т. Жислиной не всегда проявляется достаточное знание биографии Толстого и чутье его нравственной личности, что приводит ее иногда к некритическому отношению к слышанным и записанным ею рассказам. Так, она безоговорочно верит вздорному рассказу о том, будто бы Толстой во время покоса уговаривал крестьян пропить кошку сена (стр. 49—50). И не только верит, но и «глубокомысленно» находит в этом рассказе доказательство «двойственности позиций писателя» (стр. 169).

Характерен в этом разделе рассказ-легенда «Сноха» — о том, как будто бы Толстой, одетый в простую одежду, пришел тайно к своей снохе «княгине», чтобы научить ее внимательно относиться к бедным людям. Случая такого никогда не было, но рассказ этот характерен для того представления, которое сложилось у местных крестьян об отношении Толстого к своей семье. В противоположность членам его семьи, которые были типичными господами в полном смысле этого слова, в народных рассказах о Толстом, как справедливо замечает в своем предисловии Ю. М. Соколов, «обри-

совался трогательный образ Толстого — народного заступника перед сильными мира, Толстого — друга бедняков и угнетенных» (стр. 7).

Следующий раздел — «Толстой и дети» — начинается с совершенно выдуманного, сентиментального, фальшивого рассказа «Побирושка». Дико звучит совет, который будто бы дал Толстой крестьянским школьникам в ответ на их слова о том, что они сдали экзамены (стр. 81): «Учитесь, ребята, на службу пойдете — будете унтер-офицерами, будете приказчиками». Нужно иметь очень слабое представление о Толстом, чтобы верить тому, что этот ярый ненавистник существовавшего в то время в России самодержавно-помещичьего государства мог произнести такие слова. В рассказах «Хитрый мужик» и «Загадки» дается детский пересказ двух рассказов Толстого («Как мужик гусей делил» и «Петр I и мужик»), включенных Толстым в его «Книги для чтения». Составительница об этом не упоминает, как и о том, что первый рассказ заимствован из «Русских народных сказок» Афанасьева, что следовало бы знать фольклористке.

В следующем разделе — «Проповедь» — интересны рассказы, посвященные другу Толстого М. А. Шмидт (о которой Толстой в своем неопубликованном дневнике 18 февраля 1909 г. записал: «Не знал и не знаю женщины духовно выше Марьи Александровны») и знакомому ему крестьянину А. Н. Агееву, в 1903 г. посланному в Сибирь за неуважительные слова об иконе. Интересен рассказ вдовы Агеева о том участии, которое принял Толстой в судьбе его и его жены. Не обошлось и в этом разделе без вымышленных рассказов, которым т. Жислина охотно верит. Выдумкой является и то, будто бы Толстой, основав в 1887 году в Ясной Поляне общество трезвости, снабжал его членов — по одним рассказам зеленой, а по другим — красной ленточкой (стр. 89—90). Здесь, очевидно, мы имеем отголосок сказки о «зеленой палочке», связанной с детскими воспоминаниями Толстого. Рассказ «Детубийца», повествующий о случившемся в 1880 году в глухой деревушке Тульской губернии удущении «незаконнорожденного» ребенка, положенном Толстым в основу его драмы «Власть тьмы», сопровождается составительницей весьма странным комментарием. С чувством глубокого удовлетворения она заявляет, что покаяние Ефрема Колосова в своем преступлении местные жители объясняют не угрызениями совести, нет, они объясняют его «в духе здорового крестьянского реализма»: «жаждой удержать возле себя молоденькую привлекательную падчерицу» (стр. 173). Итак, одновременное сожительство с женой (явно) и с падчерицей (тайно), приведшее к убийству ребенка, служит, по мнению т. Жислиной, проявлением «здорового крестьянского реализма». Стыдно становится за бумагу, которая терпит такие нелепости.

Интересны рассказы, объединенные под рубрикой «Протестант». Здесь говорится о том, как Толстой, этот «пронзительный человек», по определению одного из крестьян, в бытность свою на голоде в Рязанской губернии находил-

ся под бдительным надзором полиции; как духовенство будто бы на своем суде постановило живым закопать его в землю. Это легенда, конечно, но характерная для понимания отношения духовенства к Толстому. К этому циклу должны бы быть отнесены и те рассказы, в которых передаются слова Толстого крестьянам о близкой перемене их положения.

— Время у нас переменится, — говорил он, — будет жизнь другая. Земля от господ отберется и отдастся крестьянам бесплатно, в пользование их общее (стр. 13, 97).

Следующий раздел — «Быт и гости Ясной Поляны» — содержит несколько чудесных рассказов («Праздник в Ясной», «Песни на деревне», «Замечательная песня»).

Два последние раздела — «Разлад» и «Уход» — показывают, что теперь уже все ясно-полянские крестьяне знают о том тяжелом семейном разладе, который так отравлял последние десятилетия жизни Толстого. Самый уход его из Ясной Поляны они объясняют тем, что «они с ним разошлись, когда он стал нам (то-есть, крестьянам) землю отдавать» (стр. 126). Очень задушевные и трогательные рассказы о последних днях и погребении Толстого. Разумеется, и о Толстом, как обо всех выдающихся людях, сложилась легенда, что он не умер, а вместо него похоронен был другой человек.

Книга заканчивается текстами народных песен, записанных т. Жислиной в Ясной Поляне. Как известно, Толстой очень любил русские народные песни; многие из них упоминаются в его художественных произведениях и статьях. Таким образом, записи текстов песен, распевавшихся в Ясной Поляне, дают материал по вопросу о том, как эти песни отразились в творчестве Толстого. В своей вводной статье составительница дает краткий, но очень содержа-

тельный очерк отношения Толстого к фольклору.

Кроме отмеченных выше существенных недочетов в комментариях, в них есть и более мелкие неточности и пропуски. Так, автор смешивает рассказ Толстого «Утро помещика» с его автобиографическим произведением «Дневник помещика» и, кроме того, «Утро помещика» называет романом (стр. 167). Не дано никаких пояснений к рассказу Толстого об убийстве его тетки (стр. 89) — здесь Толстой рассказывал об убийстве в 1861 году жены его двоюродного дяди, Федора Ивановича Толстого, прозванного «Американцем», упоминаемого Пушкиным в «Послании к Чаадаеву» и Грибоедовым в «Горе от ума». Не указана неточность в том рассказе, где Толстой в 1891—1892 г.г. будто бы говорит о своем отлучении от церкви (стр. 103): как известно, это отлучение состоялось лишь в 1901 году. Не отмечена ошибочность утверждения одного из рассказчиков, будто режиссер Художественного театра Л. А. Суллержицкий говорил речь на могиле Толстого (стр. 130), — никаких речей на могиле Толстого не говорилось. Есть и более мелкие хронологические неточности.

Пробелы в комментариях С. С. Жислиной, а главное, недостаточно критическое отношение к материалу, конечно, уменьшают ценность книжки. Однако и при наличии этих недостатков книга с интересом прочтется всеми интересующимися жизнью и творчеством Л. Н. Толстого. Они найдут в ней яркое выражение отношения народа к «великому писателю русской земли», который, по словам В. И. Ленина, «сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования»**.

Н. Гусев.

★

РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ *

События Великой Отечественной войны и дела ее участников нашли уже довольно широкое отражение в советской литературе. Из корреспонденций и очерков с многочисленных фронтов советский народ узнал о множестве замечательных подвигов, сроднился со многими славными героями, запомнил и полюбил их, сохранив навсегда в сердце память о бессмертных именах таких людей, как капитан Гастелло, 28 гвардейцев, Зоя Космодемьянская, пятеро черноморцев и другие.

Однако для многих очерков и корреспонденций характерна некоторая установившаяся традиция, ослабляющая их художественную выразительность. Суть ее в том, что, как правило, описание самих событий занимает в них главенствующее место, оттесняя внутреннюю

характеристику героя. И очень часто у читателя остается законное чувство неудовлетворенности. Он успевает оценить доблестный поступок героя и проникнуться уважением к подвигу, но не успевает узнать душу героя, сохранить теплоту живого общения с ним.

Переход от очерка к новелле, часто как будто незаметный, вместе с тем весьма важен и сложен. Можно утверждать, что наиболее запомнившимися и действенными оказались те очерки и рассказы, в которых авторам удалось передать непосредственное ощущение личной встречи, неповторимость индивидуального облика, психологическое своеобразие героя.

Стремление показать войну глазами ее участников, как некий слепок их личного отноше-

* Вадим Кожевников «Рассказы о войне», Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия», 1942 г.

** В. И. Ленин, «Л. Н. Толстой», «Сочинения», т. XIV, стр. 400.

ния к боевым событиям, характерно для творческой манеры молодого писателя — фронтовика Вадима Кожевникова. Его очерки и корреспонденции далеко не равноценны. Некоторые из них являются попросту несколько расширенным воспроизводством газетной информации или сводки, протокольной записки или страницами из дневника.

Но книжка в целом позволяет видеть, что Кожевников правильно понимает задачу художника, изображающего мир войны. Его рассказы — это рассказы о бесстрашии, преданности, чувстве воинского долга, ненависти к врагу, бдительности; но вместе с тем это не иллюстрация замечательных особенностей наших людей, а вернее рассказы о внутреннем росте советского воина, каждой отдельной личности, которая своими путями, в меру своих возможностей, в силу индивидуальных качеств занимает собственное место в общем строю, характеризуя тем самым особенности боевого содружества Красной Армии в целом.

Вот почему Кожевников иногда повествует о важном событии или эпизоде боя как бы мимоходом. Для него главное — изобразить то неповторимое, что составляет внутренний стиль, душевный склад советского воина. Удалось автору найти основную изюминку характера, и доблестные поступки, самые, казалось бы, невероятные и рискованные, воспринимаются как волнующая правда жизни, естественное выражение внутренних свойств героя. Так обстоит дело в новелле «Сергея Измайлов». Во внешней атмосфере этого повествования нет ничего героического. Она буднична, как буднична, казалось бы, работа гражданского летчика; связиста, «воздушного извозчика».

Сергея Измайлов так прост и понятен со своей милой застенчивостью, в своем преклонении перед боевым ореолом военных летчиков, имеющих на счету десятки воздушных побед. Но за этой застенчивостью автору удалось увидеть ту внутреннюю собранность, чистоту и непреклонность человеческой воли, которая делает людей готовыми к «смерти и бессмертной славе». Таким и оказался Сергей Измайлов, протаранивший своей безоружной гражданской машиной бомбардировщик врага. В беспримерном его единорестве сказался высокий класс летного мастерства и выдержки; в нем столько беззаветной сыновней преданности родине, что не ощущаешь никакой грани, отделяющей его имя от плеяды славных героев боевых воздушных схваток с фашистами.

Сила этого рассказа в том, что читатель успевает запомнить и полюбить Сережу Измайлова и потому с волнением и грустью разделяет скорбь боевых летчиков, мстящих за своего погибшего товарища.

То, что события не заслоняют человека, выгодно отличает рассказы Кожевникова от многочисленных боевых эпизодов, появившихся в нашей литературе. Ценность советского человека в войне — это прежде всего его внутренняя стойкость. Она цементирует боевые каче-

ства, она определяет силу их действия в критический боевой момент.

Герои рассказов Кожевникова — простые, жизнерадостные, хорошие советские ребята. Автор не драпировает их в тогу бесстрашия, не оттеняет волевые складки их лица, металл их голоса, — словом, не подчеркивает обличия героизма, интересуясь его обликом. Кожевников умеет за внешней грубоватостью насмешки увидеть товарищескую спаянность, за застенчивость и простодушием — внутреннюю потребность в подвиге. Таков герой рассказа «Пятый номер» — подносчик боеприпасов Степан Сидоренко. Степан сетует, что «вот все люди как люди — воюют, в атаку ходят, фашиста от всей души самостоятельно бьют, только я один какой-то неопределенный товарищ». Сидоренко — только подносчик боеприпасов, «пятый номер». Но он делает свое дело отлично, а главное — у него горячее сердце.

Сидоренко не только сам страдает от незначительности своей роли, его неуверенность как бы поддерживают добродушные насмешки товарищей. Но именно внутренняя тяга к подвигу и определила ту невиданную стойкость, какую проявил подносчик патронов в сложнейшей обстановке боя. И читателю становится ясной огромная ценность этого человека, ценность рядового бойца, отлично делающего свое скромное дело в большом деле всенародной войны против гитлеризма.

Вадим Кожевников в своих рассказах ищет выражения большой правды нынешней войны. Ее ведь не ограничишь показом примеров героизма и доблести. Они безусловно важны, поучительны и радостны. Но сущность нынешней войны не может быть раскрыта вне показа роста всенародной патриотической гордости, обернувшейся массовым героизмом на фронте и в тылу у врага.

В этом смысле примечателен рассказ «Старый водовоз». В деревне, оккупированной немцами, остается старый водовоз. Он из боязни продолжает работать на оккупантов. Перед нами — человек, у которого чувство собственного достоинства еще не пересилило страха перед пытками и смертью. Даже презрение окружающих и уход жены, вызвавшие тоску и мысль о самоубийстве, не сразу разбудили Кондратыча. Может быть, так и остался бы старый водовоз фашистским рабом. Но самая логика обострения протеста и ненависти народа к оккупантам, очень верно психологически переданная в дальнейших переживаниях Кондратыча, открыла и ему истинный путь. Старика пришлось быть свидетелем казни молодого односельчанина Кости Фадеева. Костя крикнул ему: «Гляди, Старый чорт, как я умирать буду. После людям расскажешь, пусть учатся». Для старика это была едва ли не последняя капля готовой вылиться ненависти. Но самым страшным оказалось то, что люди и даже мать Кости не пожелаали из уст предателя выслушать рассказ о гибели юного патриота.

Нельзя без волнения читать скупые строки, повествующие о том, как сперва бессмысленно искал смерти старый водовоз, задирая немец-

ких солдат, которые, приняв его за пьяного, отмахивались от него, как от назойливой собаки. Ненависть подсказала старику возможность мести. Черпак и ледяная вода оказались грозным оружием, сослужившим неплохую службу нашим бойцам, захватившим селение.

Раненый водовоз кровью своей как бы снял путы рабской униженности и отщепенства. Он вновь обрел и большую семью товарищей, и свою собственную семью. Чувство это великолепно передано витиеватой фразой санитратора, обращенной к жене Кондратыча: — «Ваш уважаемый супруг двуличный мужчина. Его обыкновенной немецкой пулей убить нельзя. И он теперь после своего поступка вообще бессмертен». Это шутовская форма большой правды. Теперь мать казенного немца Кости Фадеева хочет услышать рассказ о последних минутах ее сына именно из уст старого водовоза. И, должно быть, самым волнующим моментом во всей долгой жизни Кондратыча стал тот миг, когда он начал обыкновенными словами рассказывать о необыкновенном мужестве простого деревенского парня, который своим поступком сорвал рабские цепи с тысяч таких, как сам Кондратыч.

Так переходит из уст в уста, из сердца в сердце традиция, поднимающая народный гнев. Рождается великая ненависть, без которой немислимо победить врага.

Немало рассказов Кожевникова посвящено теме боевой дружбы. Очень хорош маленький рассказ «Любовь к жизни». Это мастерски сделанная новелла, где все от сердца, от больших чувств, проявленных внешне в незначительных поступках.

Комиссар летной части, политрук Галаджий, пренебрегая опасностью, вылетает в пургу только затем, чтобы для раненого друга разыскать в далекой городской библиотеке книгу

с рассказом Джека Лондона «Любовь к жизни», о котором пишет Крупская в воспоминаниях о Ленине. Галаджий возвращается из перелета, потерпев аварию. Взятая из библиотеки книга испорчена. Но он решает через час вновь лететь обратно, иронически замечая: «А ты как думал, на весь город у них один экземпляр, что ли?» В поступке политрука нет и тени мягкотелости, сентиментальной жалости к товарищу; Галаджий понимает, как много значит настроение для человека, влюбленного в атмосферу боевой жизни, которому грозит выбыть из строя. Нет в этом рассказе чувствительных слов и вздохов, но в поступке Галаджия угадывается нечто большее, — ощущение дружеской руки, которая способна бороться за жизнь товарища, даже пренебрегая угрозой собственной гибели.

Рассказывает ли Кожевников о находчивости, сметке и смелости, об инициативе бойцов, о боевом самолюбии, о бесстрашии, — всюду он верен тому же стремлению показать внутренний личный счет каждого к ненавистному врагу. Счет, выросший в дни войны и осветивший, преобразивший жизнь и чувства каждого из ее участников так, что они словно наголову вырастают на наших глазах, становясь вровень с историей, как племя богатырей.

Так возникают образы простых, рядовых советских людей, в каждом из которых ощутима душевная жемчужинка, позволяющая понимать бессмертие народа.

Не всюду Кожевникову удается в равной мере раскрыть психологический облик героя. Это определило слабость таких вещей, как «Подходящий случай», «Гвардейская гордость» и некоторые другие. Но в целом книжка знаменует собой верно найденную линию волнующей правдивой новеллы о советском воине.

О. Резник.

★

НОВСЕ О ГОРЬКОМ*

Интерес к произведениям М. Горького и изучение оставленного им богатейшего литературного наследства не ослабевают. Прекрасным доказательством этому служат вышедшие уже в дни войны в Ленинграде две новые книги: третий том издаваемых Академией наук СССР «Материалов и исследований» и второй выпуск указателя «Литературная работа М. Горького».

В предисловии к первому тому «Материалов» редакция так определяет свою задачу:

* М. Горький. «Материалы и исследования». Том III. Под редакцией С. Д. Балухатого и В. А. Десницкого. М.-Л. Академия наук СССР. 1941.

С. Балухатый и К. Муратова. «Литературная работа М. Горького». Дополнительный список первопечатных текстов и авторизованных изданий 1889—1936 гг. М.-Л. Академия наук СССР. 1941.

«С одной стороны, мы хотим положить начало ознакомлению советского читателя с теми документами, касающимися жизни и деятельности М. Горького, которые ему или совсем неизвестны, или мало доступны...» «С другой стороны, мы хотели бы положить начало и широкому изучению творческого процесса М. Горького...» «Мы знаем М. Горького по его текущей художественной и публицистической деятельности, по собранию сочинений. Но в это собрание входит далеко не все, созданное пролетарским художником. Многие даже самым им позабыто, многое в плане высокой требовательности к своему труду не заслуживает, по мнению М. Горького, внесения в собрание сочинений. Но наше отношение может быть и иным. Мы подчеркиваем громадное практическое значение всего материала, связанного с жизнью и деятельностью великого писателя, ибо история ли-

тературной деятельности М. Горького — одна из ярких страниц истории становления пролетарской культуры и социалистического искусства».

В первых двух томах «Материалов и исследований» (Л. 1934 и 1936 гг.) были опубликованы чрезвычайно ценные и интересные материалы: забытые и неизданные произведения М. Горького (рассказы, очерки, статьи, рецензии), переписка М. Горького с писателями (в том числе с А. Чеховым, Л. Андреевым, В. Брусовым), письма М. Горького к начинающим писателям и письма их к нему (И. Вольнова, К. Тренева и многих других). Кроме того, в этих сборниках было помещено несколько статей по истории текстов произведений М. Горького (С. Балухатый. Работа М. Горького над пьесой «Дети солнца» и др.).

Третий сборник содержит: I. Эпистолярное наследство М. Горького (письма М. Горького к издателю «Журнала для всех» В. Миролубову, переписка с С. А. Венгеровым и Д. Н. Овсяннико-Куликовским). II. Исследовательские статьи о творчестве М. Горького (С. Д. Балухатый «Песня о Соколе», С. В. Касторский «Из истории создания повести «Мать» и др.), III. Материалы и документы (отзывы американской печати 1907 г. о повести «Мать», царская цензура о заграничных изданиях сочинений М. Горького).

Центральное место нового сборника занимают письма М. Горького к В. Миролубову, издателю дореволюционного массового литературного журнала. Здесь М. Горький выступает не только как писатель, но и как редактор, воспитатель и руководитель молодых, начинающих писателей. Необычайная любовь к литературе и ее представителям от знаменитых писателей до новичков, впервые вступающих на литературную дорогу, чувствуется в каждом письме, каждом слове М. Горького. Объективность и суровость оценки произведений и неуклонное отстаивание своих общественно-политических взглядов делают письма М. Горького к В. Миролубову ценнейшим автобиографическим документом. Опубликованные письма охватывают период с 1897 по 1928 год.

Предпосланная опубликованным письмам М. Горького статья Т. К. Ухмыловой и примечания к письмам дают чрезвычайно интересную картину дореволюционной литературной жизни и сообщают много фактических данных о писателях, их творческой работе, замыслах, общественно-литературных течениях. Историк литературы немало почерпнет из писем М. Горького. Подобно А. Н. Толстому, М. Горький всегда был в центре литературной жизни страны. Едва ли не каждый литературный работник в большей или меньшей степени был связан с М. Горьким. У М. Горького просили совета, помощи, содействия, хотели знать его мнение о своей работе. В опубликованных письмах (а это только очень небольшая часть переписки М. Горького) мы встречаем множество самых разнообразных литературных имен.

И ко всем писателям у Горького свое отношение, свой взгляд на их литературную деятельность.

Как известно, М. Горький первый заметил и оценил талант Л. Андреева. И вот что мы находим в его письме к В. Миролубову в 1898 г.: «В пасхальном номере московской газеты «Курьер» помещен рассказ Леонида Андреева — вот бы вы поняли в виду этого Леонида. Хорошая у него душа, у чорта. Я его, к сожалению, не знаю, а то бы тоже к вам направил». В другом письме М. Горький пишет: «Обратите внимание на рассказы Г. Гребенщикова. Автор — сын алтайского калмыка и донской казачки, молодой парень, самоучка». А вот и иная оценка некоторых писателей, находящихся сейчас в эмиграции: «О Б. Лазареском не может быть и речи, он же бездарен, как уличный фонарь», или «Поведение Мережковского еще один и — право, лишний раз подтверждает мое мнение о нем. Это — жулик, это — маленькая, умная бестия, Речами о боге, о Христе, он хочет добиться каких-нибудь благ жизни» и т. д. Нужно сказать, что приводимые нами цитаты относятся к дореволюционному времени. В письмах проходят имена А. Блока, М. Пришвина, А. Амфитеатрова, М. Коцюбинского и т. д. Отзывы о книгах, разбор произведений, взгляды на жизнь, литературу, искусство, — все это встречаем мы и в письмах М. Горького к В. Миролубову и к другим корреспондентам. «Лично же Вам скажу, — пишет М. Горький С. Вешерову в 1908 г., — что для меня революция столь же строго законное и благостное явление жизни, как судороги младенца во чреве матери, а русский революционер — со всеми его недостатками — феномен, равного которому по красоте духовной, по силе любви к миру — я не знаю».

В письмах к редактору «Вестника Европы» Д. Овсяннико-Куликовскому, в годы сотрудничества М. Горького в этом журнале (1911—1913) находим и ряд высказываний М. Горького, характеризующих его серьезное и вдумчивое отношение к вопросам русской культуры и науки.

Во второй части сборника, содержащего статьи о М. Горьком, С. Д. Балухатый поставил себе задачей не только показать творческую работу М. Горького над «Песней о Соколе», но и дать генезис основных образов песни, Сокола и Ужа, связав их с предшествовавшими им образами в фольклоре и мировой классической литературе, подчеркнув органическую связь «Песни о Соколе» со всей общественно-политической и литературной деятельностью М. Горького и отметив исключительное агитационное значение «Песни».

Интересны и заготовки М. Горького к неосуществленному роману «О российском Жан Вальжане, добродетельном каторжанине».

В заключительном отделе сборника не могут не остановить внимание читателя материалы по цензуре произведений М. Горького, печатавшихся в заграничных издательствах.

Несмотря на бесспорную ценность опубликованного материала (не только в рецензируемом, но и в предыдущих сборниках), мы все же сделаем несколько общих замечаний, касающихся самого принципа его опубликования. Насколько можно заключить из предисловий к сборникам, весь рукописный материал взят из ленинградских учреждений, имеющих горьковские фонды (Институт русской литературы Академии наук (ИРЛИ) и Публичная библиотека им. М. Салтыкова-Щедрина). Поэтому работающие над составлением сборников имели полную возможность, заранее ознакомившись с архивами, гораздо рациональнее систематизировать материал при его опубликовании. Во всяком случае можно было бы избежать той пестроты, которая неизбежна при опубликовании материалов, постепенно и случайно накапливаемых. Сборники предназначаются не для историков и литературоведов, а для массового читателя (на это указывают и их составители) и являются дополнением к сочинениям М. Горького. Следовательно, нужно было бы ориентироваться на общепринятое при изданиях распределение материала, то-есть разбить материал на: беллетристические произведения, статьи, исследования о творчестве писателя. Новые материалы и служили бы дополнением к имеющимся собраниям сочинений и отдельным сборникам, впрямь до издания полного академического собрания сочинений М. Горького. Соответственно характеру публикуемого материала можно было бы давать и тиражи сборников. Кстати, тиражи всех трех сборников различны. Первый издан в количестве 15 175 экз., второй — 20 000 экз. и третий — 8 000 экз. Чем объяснить эту несогласованность? Ведь в таком случае тысячи библиотек и отдельных лиц заранее обречены на отсутствие у них полных комплектов издания. То же можно сказать и о второй рецензируемой нами книге. Первый, основной выпуск «Литературная работа М. Горького» издан в количестве 1 500 экз., второй, дополнительный, имеет тираж в 2 000 экз.

Вышедшая в 1936 году книга С. Балухатого «Литературная работа М. Горького» является в настоящее время главнейшим пособием при изучении творчества М. Горького, но зарегистрированный в ней материал оканчивается 1934 годом. Требовалась настоятельная необходимость дополнить справочник новым, большим материалом, накопившимся за истекшие с этого времени годы. Этот труд и был выполнен С. Балухатым и К. Муратовой. «Для составления дополнительного списка были просмотрены книги, центральные газеты и журналы 1935—1940 г.г. и многочисленные номера газет, откликнувшихся на памятные горьковские даты. Полученный из этих изданий мате-

риал составил основной корпус списка. Кроме того, составители ставили себе задачу восполнить возможные пробелы по годам, уже представленным в книге «Литературная работа М. Горького» (Предисловие).

В результате обследования различного рода сборников, в которых помещались неопубликованные ранее тексты произведений М. Горького («Литературное наследство», «Горьковские чтения» и др.), а также журналов и газет, составители значительно дополнили первый выпуск указателя. При просмотре же дореволюционных газет выяснен вопрос о принадлежности М. Горькому целой серии неподписанных фельетонов 1895—1896 г.г. — «Очерки и наброски», печатавшиеся в «Самарской газете». Таким образом открыто 270 новых рассказов, фельетонов, статей и рецензий М. Горького.

Весь материал нового указателя тщательно описан, аннотирован и расположен по принятой в первом выпуске классификации. Кроме новых материалов, в справочнике имеется дополнительный список псевдонимов М. Горького и ряд поправок и изменений, относящихся к предыдущему выпуску (уточнены некоторые даты, фамилии адресатов, первые публикации).

К недочетам нового справочника следует отнести отсутствие в нем «Предметного указателя» и «Указателя источников». Это значительно снижает ценность второго выпуска, лишая возможности читателя найти дополнительный материал на нужную ему тему (напомним некоторые рубрики «Предметного указателя» первого выпуска»: «Война», «Гуманизм», «Искусство» и т. д.). Список же источников (занимавший в первой книге целых 29 страниц) показал бы, насколько полно представлен материал справочника. Следует отметить, что во втором выпуске справочника, наряду с регистрацией произведений М. Горького и его писем, составители нашли нужным регистрировать и различного рода записки, пометки и дарственные надписи М. Горького на книгах, фотокарточках. Это следует приветствовать, так как и в самых кратких фразах проявляется творческая личность писателя, его отношение к жизни, людям, литературе. «Человек — вот правда» — надписывает М. Горький на одной из «дарственных» книг. «На добрую память о днях совместной жизни — веселой жизни! За каменной стеной!» находим мы на его фотокарточке. А как хороша и значительна принадлежащая М. Горькому надпись на мемориальной доске в честь Джовани Паскале! Эти слова можно всецело отнести и к самому М. Горькому: «Умирает человек — Народ бессмертен и бессмертен Поэт, чьи песни — трепет сердца его Народа».

Н. Мацуев.

Редколлегия: М. М. Розенталь, В. П. Ставский, А. А. Сурков, А. Н. Толстой, К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.

Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

A61258. 8 печ. листов. Тираж 40.000. Зак. 1179.

Подписано к печати 23/VII—25/VII—1942 г.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.